

*Ирина Ракша*



**ЗОЛОТЫЕ  
ОПИЛКИ**

«NON-fiction» премии-медали им. Ивана Грозного

Ирина Ракша

**Золотые опилки**

«ИП Березина Г.Н.»

2020

УДК 821.161.1  
ББК 84(2 Рос=Рус)6

**Ракша И. Е.**

Золотые опилки / И. Е. Ракша — «ИП Березина Г.Н.»,  
2020 — («NON-fiction» премии-медали им. Ивана Грозного)

ISBN 978-5-907350-63-2

Вы открыли замечательную книгу. Это не только художественная проза большого мастера слова. В ней содержится редкая информация «о времени и о себе», о героях веков минувших и дне сегодняшнем, это интереснейшие мемуары, воспоминания. Автор книги – Ирина Евгеньевна РАКША, известный писатель, кавалер государственных наград, лауреат литературных премий. Её имя включено в энциклопедии, в Книгу рекордов России. В её честь Российская академия наук назвала малую планету № 5083 «ИРИНАРА». Имеет звания: академик Академии российской словесности, Народный писатель России. ИТАК, вы на пороге увлекательного чтения и новых открытий!

УДК 821.161.1  
ББК 84(2 Рос=Рус)6

ISBN 978-5-907350-63-2

© Ракша И. Е., 2020  
© ИП Березина Г.Н., 2020

## Содержание

Планета «Иринара»	10
Ступени памяти	14
Ода Его Величеству	17
И надо жить...	21
Конец ознакомительного фрагмента.	46

# Ирина Ракша Золотые опилки. Мемуары



*В оформлении обложки использована картина художника Юрия Ракиши «Ты и я»  
Фотоколлажи из архива автора «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?»*

© И. Ракша, 2020





Более полувека я работаю в литературе. И могу назвать эту книгу своей «визитной карточкой», так как в ней основные «черты» моего творчества. Разных объёмов и жанров. Но всё это – я. В каждой строке, каждом слове. Говорят, серьёзная проза, как и серьёзная музыка, не стареет. Мой муж, художник Юрий Ракша, сказал: «Как в зеркало мы смотрим в мир и отражаемся в нём. Картины художника – это отражение мира, а значит, и его самого. И потому в каждом произведении ищите художника, его СУТЬ, его отражение – он здесь...»

Так что – читайте! И приятных вам минут!

- Ирина Ракша -



Папа вернулся с фронта. 1945.



На Катунь. Моя Алтайская целина. 1956.



Во ВГИКе. 1961-1967.



Урал. Эвакуация. Голода избежали. 1943



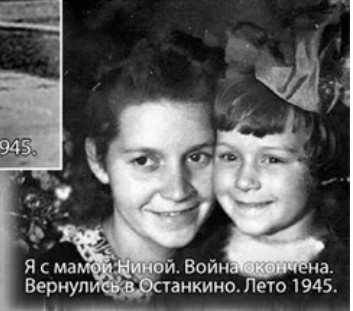
Родное Останкино. Мама, папа и я. 1945.



Дом на Преображенке. 1974.



Я с дочкой Анечкой. Новый 2007 год.



Я с мамой Ниной. Война окончена. Вернулись в Останкино. Лето 1945.



Мои предки. Прадед - хирург и прабабушка - "Иван да Марья" Никольские с детьми. Слева направо: Иван Никанорович, Мишенька, Дуся, Мария Алексеевна, Сонечка, Николай, Шура, Зиночка, Вера... Вторая справа - моя будущая бабушка - Зинаида Ивановна. Нижний Новгород, 1898.



Я и папа Евгений Игоревич Ракша - вчерашний студент Тимирязевки. Москва. Зима 1939.



Писатели Иван Стаднюк, Ирина Ракша.  
Москва. Конец 80-х.



Художник Юрий Ракша.  
В своей мастерской.  
У триптиха «Поле Куликово»  
(Третьяковская галерея).  
1980 год.



Поэт Мустай Карим, Ирина Ракша.



Алтай. Целина.  
Совхоз «Урожайный»  
1956 год.



Москва, Кремль.  
Съезд Союза писателей России.  
Я и писатель А. Е. Рекемчук.



Прозаик Ирина Ракша и  
музыковед Станислав Белза.  
Москва, 2005 год.



У хлеборобов Алтая.  
Я и писатель С.С.Смирнов.  
70-е годы.



Открытие выставки Юрия Ракши.  
В.Сурганов, В.Петров, Ирина Ракша, И. Стаднюк.  
Москва, ЦДРИ. 1980-е.

## Планета «Иринара»

Ирина Евгеньевна Ракша – писатель, кинодраматург, член Союза журналистов СССР и РФ (с 1965 г.), член Союза писателей СССР и РФ (с 1969 г.). Вдова художника Юрия Ракши (1937–1980), их совместная дочь Анна Юрьевна (1965–2017) была членом Союза художников РФ.

Ирина Ракша – москвичка в четвёртом поколении, родилась в Останкино, в семье служащих. Родители – агрономы, выпускники ТСХА (Тимирязевской сельскохозяйственной академии). Детство Ирины прошло на столичной окраине. Училась в средней школе № 271, а также в музыкальной.

В 1955 году развод родителей стал причиной её отъезда с поездом первоцелинников на Алтай во вновь образующийся зерносовхоз «Урожайный», куда ранее был командирован из Министерства сельского хозяйства её отец. Там, в предгорьях Алтая, на берегу реки Катунь, рядом с селом Сростки – родиной В. Шукшина, и проходили годы юности будущей писательницы. (Этому переломному периоду её жизни посвящён рассказ «Голубочек мой ясный».)

В селе Грязнуха (ныне – Советское) Ирина окончила десятилетку, получила «серебряный» аттестат зрелости. Одновременно работала в совхозе почтальоном, учётчиком на лесоскладе, лаборантом на птицеферме. Затем, уже в Красноярском крае на станции Солянка, станции Уяр-Клюквенная, трудилась разнорабочей на железной дороге, была корреспондентом газеты «Сталинец». Работала также в Туве, Хакасии, на станции Бискамба. В дальнейшем романтические мотивы *железной дороги, товарняков, поездов, дальних странствий* станут в её творчестве особенно любимыми.

«По алтайской степи на взмыленном коне пронеслась мимо меня амазонка. Так состоялось моё первое знакомство с семнадцатилетней Ириной Ракшой, – писал в 1963 году поэт-классик, профессор Литинститута им. М. Горького Михаил Аркадьевич Светлов. – Я приехал к её отцу, директору строящегося целинного совхоза. Я тогда никак не думал, что буду писать вступительное слово к её рассказам. Она тогда была никаким писателем, так же, как я – никакой наездник. Но я считаю, что недаром вспомнил об этой первой встрече. Потому что свойство Ирины – неутомимость в движении. Потому что разбуди её глубокой ночью и скажи: „В Ледовитом океане белые медведи соскучились по тебе“, – она, надевая башмаки, спросит: „А туда как лучше добираться, поездом или самолётом?“»

Великий поэт Михаил Светлов сердцем почувствовал то яркое, то порывистое и сердечное, что сохранилось в Ирине Ракше навсегда и окрасило всё её творчество. Жители Алтая, Сибири, Чукотки, люди сильной и чуткой души, стали героями первых её публикаций на страницах алтайских, сибирских, а затем и московских центральных газет и журналов.

И вот что далее писал Светлов в статье об Ирине Евгеньевне:

«Она исколесила Сибирь, не устала, а наоборот – рвётся в новые пространства... И эти её путешествия вовсе не для того, чтобы потом похвастаться: «Я была там-то и там-то». Нет, вовсе не для этого.

Есть два рода наблюдателей. Есть наблюдатели ума холодных наблюдений: «Вот я поеду в Париж, обязательно посмотрю на Эйфелеву башню, сбегаю в Лувр и, конечно, накуплю кой-чего из мелочишек».

А Ирина, скажем, поедет на Север – она поедет туда вовсе не для того, чтобы увидеть только северное сияние. Она поедет туда для того, чтобы увидеть и узнать чукчей под северным сиянием. Она умеет прекрасно видеть, и именно поэтому у неё так много в рассказах хороших деталей.

Не всегда в произведении нужен образ. Точная деталь часто заменяет образ. Точная деталь становится биноклем, приближающим предметы и делающим их выпуклыми. И тут не

нужны никакие романтические слова. Наоборот, бытовая деталь помогает романтике. Если бы я был сказочником, я бы первую сказку начал так: «Студент надел калоши и пошёл в царство фей». То есть я бы к небесам пристегнул землю...

Я не буду вас утомлять многими её цитатами. Приведу только одну деталь и один совсем краткий диалог.

«Но стрелочник отвернулся и, сунув флажки в сапог, пошёл в будку». Больше нигде в рассказе этот стрелочник не появляется, но это *сунув флажки в сапог* делает стрелочника видимым и запоминающимся.

А вот диалог – разговор девушки и девчонки:

– *Уехать бы куда подальше. Да вроде незачем. Платят хорошо.*

– *А я бы задаром по красоте такой ездила, – глядела вдаль девчонка.*

Больше я цитат не привожу, потому что это не разбор творчества Ирины Ракши. Это только моё напутствие ей.

И я так обращаюсь к Ракше: „Ирина!.. Я называю тебя талантливой. Смотри, не подведи меня!“»

*Михаил Светлов. 1963 г.*

Полустанки и поезда, товарняки и работяги-попутчики – всё это тоже предмет острого, сострадательно-любящего взгляда Ирины. А светловское напутствие «Смотри, не подведи меня», сказанное поэтом незадолго до смерти (его студенткой, вернувшись в Москву, стала молодая писательница), на всю жизнь стало для неё ответственным заданием.

В 1958–60 годах И. Ракша училась и на агрофаке в Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Затем поступила и окончила сценарный факультет ВГИКа (1961–1967), дипломным сценарием были новеллы её первой книги «Встречайте проездом». В 1972–1974 училась на Высших литературных курсах Литинститута им. М. Горького для членов Союза писателей. Мастерами Ракши были прозаик С. Антонов, поэт А. Межиров.

«Я всегда много училась. Даже прилежно. И это, конечно, здорово, – напишет потом в биографии Ирина Евгеньевна. – Это были тоже „мои университеты“. Но училась я ещё и потому, что в вузах тогда платили стипендии, на которые можно было жить. А я, брошенная родителями, заимевшими иные семьи и иных детей, могла с ранней юности рассчитывать лишь на себя. Ну а потом у нас с Юрочкой и своя дочь появилась. Анютка. Так что поневоле вкалывать приходилось...»

Немалое влияние на творческое становление писательницы оказала встреча и с Василием Шукшиным (и его матерью), в чьём доме в Сростках она бывала еще в алтайский период. Ну а регулярные публикации в московских журналах «Юность», «Молодая гвардия», «Огонёк», «Смена», «Знамя» и первые книги рассказов «А какой сегодня день?», «Почему опоздал маневровый», «Скатилось колечко» (издательство «Советская Россия»), «Сибирские повести» («Профиздат», «Современник») принесли И. Ракше широкую известность, сделав её имя любимым и популярным уже в шестидесятых, в период так называемой *оттепели*.

Критики писали: «Проза Ирины Ракши красочна, ёмка, богата образами, деталями и интонациями, глубоко психологична. Её школа – классика русской литературы».

Действительно, кумиры писательницы – Н. Гоголь и А. Пушкин, И. Бунин и А. Чехов, В. Набоков и Ю. Казаков, Е. Носов и В. Шукшин.

Её новые, неспешные книги последовательно выходят и в семидесятые, и в восьмидесятые годы, и в лихие девяностые. Ирина часто ездит в командировки от газет и журналов. Очерки и статьи – будь то БАМ или Прага, Чукотка или Париж – глубоки, остры, порой непримиримы. Будучи по профессии и кинодраматургом, И. Ракша пишет сценарии к документальным и игровым фильмам, снятым на киностудиях «Мосфильм», «Беларусьфильм», ТВ «Экран».

Как искусствовед Ирина Евгеньевна публикует статьи о музыкантах, поэтах, художниках: М. Грекове и А. Пластове, Ю. Ракше и И. Левитане. Её муж, с которым они встретились ещё во ВГИКе студентами (тогда его фамилия была Теребилов), – известный живописец и художник кино Юрий Ракша, лауреат премии «Оскар» (США) за фильм «Дерсу Узала», премии «Биеннале-72» в Париже за полотна «Моя мама» и «Современники». В честь него, выдающегося художника XX века, Институтом астрономии РАН планета Солнечной системы № 3032 названа «РАКША».

Впоследствии Юрий Михайлович вспомнит об их общей студенческой юности: «... Много и писем было тогда написано будущей писательнице Ирине Ракше, ставшей потом моей женой и верным другом на всю жизнь, и в радости, и в горе, моим единомышленником, первым зрителем, первым критиком. Я знаю, как много факторов должно соединиться в благом сочетании, чтобы художнику стать художником, чтобы художник осуществился, поэтому так важно, кто всю жизнь с тобой рядом... А Ирочка всегда была моей звездой, моей Музой».

Книги прозы И. Ракши переведены на множество языков мира. Статьи о её творчестве, о «свете добра и любви» писали многие мастера русского слова – С. Дангулов и А. Борщаговский, В. Сурганов и В. Куницын, И. Стаднюк и Ю. Нагибин, Дм. Ильин и Б. Виленский и другие. Её имя вошло в Книгу рекордов России – 2008», во многие литературные энциклопедии, в том числе в энциклопедию США «Женщины-писательницы России».

В 1995 году малая планета Солнечной системы № 5083 решением Института астрономии РАН и Международного Планетарного центра (США, штат Массачусетс) получила имя «ИРИНАРА» – «... в честь известной русской писательницы Ирины Евгеньевны Ракши».

Ирина Евгеньевна – лауреат ряда литературных премий: «Золотое перо России», имени В. Шукшина, им. С. Есенина, им. М. Лермонтова, 2012 – «Золотой витязь», «Писатель года» (2013, 2015, 2016 гг.), дипломант премии «Наследие» за 2015 год. Награждена премией и медалью им. И. Бунина (2014), медалью им. К. Шульженко.

Наиболее известные книги: «Встречайте проездом» (М., Советская Россия, 1965), «Катилось колечко» (М., Советская Россия, 1971, 1987), «Весь белый свет» (М., Современник, 1977; Роман-газета – М., Художественная литература, 1981, тираж 3 млн), «Далеко ли до Чукотки?» (М., Московский рабочий, 1979), «А какой сегодня день?» (М., Правда, 1981), «Сибирские повести» (М., Профиздат, 1988), «Охота на волков» (М., Библиотека русской прозы, 1998), роман «Белый свет» (М., Союз писателей России), «Художник и Муза. Юрий Ракша» (Союз писателей РФ, 2005).

Вышли в свет сборник мемуаров «Возвращение в Россию» (М., ИРА, 1993), автобиографический роман «Письма чужой жене» (2015), «Избранное» (2016, Российский союз писателей), а также книги для детей: «Ужин тракториста», «Певец первой конной» (М., Малыш), «Необыкновенное путешествие» (М., Детская литература). Одна из книг Ирины Ракши – «Шкатулка с секретом» (2013) – написана о бабушке писательницы Надежде Васильевне, знаменитой певице начала века, собирательнице и несравненной исполнительнице русских народных песен, основоположнице этого эстрадного жанра, имя которой РАН дало планете Солнечной системы № 4229 – «ПЛЕВИЦКАЯ».

Ирина Евгеньевна с 1994-го по 2004 год являлась председателем приходского совета московского храма Рождества Пресвятой Богородицы (Бутырская слобода), который она безвозмездно восстанавливала в трудное для страны время. В эти же годы работала редактором: заведовала отделом литературы и искусства в журнале «Работница».

Ирина Ракша имеет государственные награды: медаль «За освоение целинных земель» (1956) и орден «Дружба» (2008) за подписью Президента России В. Путина – за заслуги в области литературы и искусства.

Является академиком Академии российской словесности. На 7-й Пушкинской ассамблее (2015) принята в действительные члены Академии, учреждённой императрицей Екатериной II в XVIII веке.

Весной 2018 года И. Ракша удостоена высокого звания «Народный писатель России». В 2020 году ей вручены медаль имени А. Пушкина, орден Святых Кирилла и Мефодия.



## Ступени памяти

Я неслучайно именно так назвала этот рассказ. Сегодня, в юбилейный год Великой Победы моего Отечества над гитлеровским фашизмом, я, как по ступеням времени, ступеням памяти, прошла по судьбам моих дедов и прадедов – мужчин моего рода. Защитников своей земли...

И вот чем хочу поделиться.

**I. Мой прадед Никольский Иван Никанорович** – сын священника и прекрасный хирург. Защитник православной веры и Родины – и в России, и на Балканах в боях с басурманами полтора века назад.

Вернувшись домой, в Нижний Новгород, с крестом Святого Георгия на груди, полученным от белого генерала Скобелева, сказал, обняв детей и жену:

– Ты, Мария, завещала мне воевать достойно, с честью. Завещала выжить и вернуться домой, а с чужбины ничего чужого не брать. Все три завета твоих я выполнил. Только вот возьми на святой помин эту деревянную ложку. Там, у болгарского села Шипка, лютой зимой на перевале, в передышке между атаками и моими операциями, я вышел однажды из госпитальной палатки. *(Тогда ещё не было ни антибиотиков, ни наркоза. Хирург просто вливал склянку спирта в орвиции от боли рот и резал раненого «по-живому» – животы, руки, ноги. – Прим. автора.)* Перекрестясь на белый свет, я устало вздохнул и увидел поодаль белый дымок костра. Это наши солдатики варили и ели кашу из дроблёной крупы. Слышу – зовут: «Ваше благородие!.. Доктор! Иди к нам, отведай горячего нашего варева». Подошёл, стою, гляжу на котел, на весёлый под ним огонь. Но есаул понял, что у меня нет за голенищем, как у всех, своей походной ложки. Вскочил и отойдя недалёко, наклонился к недавно убитому, ещё не застывшему, не вмёрзшему в снег солдатику. И, перекрестясь, достал из его сапога тёмную, плоскую (чтоб на марше ногу не резала) ложку. Сбоку даже чуток объеденную, видать струганую давно, ещё дома. «На тебе, доктор, возьми, садись с нами, – и протянул мне её. – Пусть теперь и тебе послужит...» Вот, Мария, держи и береги. Пригодится в хозяйстве.

Ложку Мария взяла, но, аккуратно завернув в холстинку, бережно спрятала. На помин души.

Прошло больше столетия. И эта бессмертная ложка (малая, но *великая*), стоит сейчас у меня дома, за стеклом, в стакане – как цветок вечной памяти.

**II. А вот мой дед, Трошев Аркадий Иванович.** Авиатор, выпускник-отличник Академии им. Жуковского 1927 года (всего второй выпуск!). Когда дед был совсем молодым, он и его близкий друг-однокурсник Игорь Стечкин (позже автор легендарного автоматического пистолета) организовали в академии собственный музыкальный квартет, ставший лицом вуза. Некий оркестр: мандолина, гитара и бас.

Но не бас, конечно, был баян. Плюс ещё и дедов кларнет – он прекрасно на нём играл. Выступал квартет и перед своими авиаторами, в круглом «приёмном зале послов» краснокирпичного чудо-дворца, где, кстати, столетие назад спасался от пожаров Москвы завоеватель Наполеон. Путь этой дворец на Тверском тракте (ныне Ленинградский проспект) построила ещё государыня Екатерина II, а большевик Ленин отдал его под авиаакадемию. Играл квартет бескорыстно, увлечённо и радостно. Особенно в праздники – октябрьские, Первомайские. Выступали в заводских клубах и по фабричным окраинам. Пролетарии всегда горячо их принимали. Ещё бы, авиаторы – будущее неба страны!.. И уже такой квартет! Такой звонкий голос имеют!..

Знали бы тогда эти простодушные работяги, пролетарии тех лет, каких великих сынов возрастит эта академия! Они не только поднимутся в небо, не только защитят от врагов это небо. Они первыми будут в космосе!..

В общем, наша власть моего деда берегла, ценила. Как и Стечкина, и других авиаторов Жуковки. В сорок первом не пустила его на фронт, даже и в ополчение. Выдали «белый билет». Он, тогда уже автор ряда учебников для вузов, профессор МАИ и МАТИ, преподавал студентам и в дни войны: читал курс моторостроения винтовых самолётов.

В 1941–42-м во время ночных налётов на Москву полчищ фашистских «мессеров» и «фоккеров» дед не прятался в бомбоубежище. Смотрел, как эти машины смерти плывут всё ближе – ровными рядами чёрных крестов. К Кремлю. К нашей Язуе. Ждал фугасок. Знал, как их тушить. Следил за боями в небе. Различал все самолёты по звуку. (Наши смелые «ястребки» бились отчаянно. Героически гибли. Падая вниз, горели как факелы. Точки ПВО не справлялись. Лучи прожекторов металась и шарилась в небе впустую. СМИ и сегодня не любят об этом писать, вспоминать.)

Во время бомбёжки, в гуле и грохоте близких разрывов (даже во дворе нашего дома упала бомба, мальчишки потом в этой яме купались), дед в темноте комнаты вынимал из футляра кларнет и начинал играть. Чаще любимого Моцарта – наизусть. Его нежно-прозрачную «Маленькую ночную серенаду». Звуки волшебной музыки вместе с дыханием деда упрямо и дерзко стремились ввысь. Всё выше и выше. Рвались из тёплого дома в холодное чёрное небо. В гул боя. Они тоже дерзко хотели сражаться с этой стеной фашизма...

Позже от голода у деда и бабушки уже стали опухать ноги (одного скудного пайка на семью не хватало). Иногда дед на толкучем рынке выменивал за бабушкино золотое колечко пару стаканов зерна и дома аккуратно молот его, бережно вращая длинную ручку коробки-кофемолки – древней, деревянной, тёмно-коричневой. Эта золотая спасительная мука белой струйкой текла в крохотный ящичек... Потом бабушка смешивала её с лебедой и пекла на воде живительные лепешки.

А зимой, в морозы, дедушка за вязанкой дров для железной «буржуйки» (со скрипучей дверцей) ездил трамваем за город. Топить печку книгами не поднималась рука, а там ему – кто-то, где-то – разрешали разбирать старый штaketник. За живые деревья штрафовали, за их спиливание даже сажали...

В это же время папа мой, лихой лейтенантик, был на фронте, на передовой. Командовал танковым батальоном. Наши грозные, гремящие траками Т-34, наступая на врага и поводя длинными дулами пушек, послушно ему подчинялись – как живые, приручённые звери.

Мы же с мамой были тогда в эвакуации: за Уралом, под Курганом. Таких эвакуированных беженцев расселили по избам колхозников. Их было полно. И мы два года жили в землянке у леса, словно в сыром окопе. Однако в окопе своём, отдельном. Мы даже кошку пригрели. Мама – пианистка и агроном – долго не находила работы. От голода нас спасал лишь огород. Картошка, солёные огурцы и капуста в бочках. В общем, как всегда, спасала наша родная земля. Земелюшка-матушка...

Чёрно-белых фото тех лет очень мало. Бережно их храню.

### **III. А вот каков был мой отец Ракша Евгений Игоревич.**

Агроном (как и мама, выпускник факультета механизации ТСХА) и одержимый изобретатель сельхозмашин. А ещё – танкист-победитель, гвардеец, с редким орденом Александра Невского на груди. Защитник Отечества и лично меня от неминуемой смерти под сапогом фашизма. И я гордилась и буду всю жизнь гордиться тем, что после войны (в которой мы смяли этот «сапог») я носила в школу вместо портфеля полевую сумку отца из дерматина, с длинной лямкой через плечо. Внутри эта сумка долго пахла (как и мои тетрадки) горьким машинным

маслом, дымом стреляных гильз от снарядов, фронтовыми дорогами. Вместе с ней я получила и аттестат зрелости. Истинной моей зрелости.

**IV. А вот это мой внук Владимир...** (Фамилию умышленно не пишу. Но миром такие Владимирсы, знаю, владеть не будут.)

Улыбчивый недоучка, самоуверенный лгун и хитрец... Что ж, иное время – иные песни. Вляпались мы в капитализм в девяностые, когда эти внуки рождались... Вернее, нас вляпали. Даже втолкнули. «Свобода!.. Свобода!»

А от чего, собственно, свобода-то?.. Ради чего, для чего?.. Теперь кругом или сытые сибариты, или недовольные всем наглецы. Но и тех, и других заботит одно: прибыль, коммерция. Уже больше на кухнях не собираются – поспорить, потолковать о политике под гитару. За стеной по праздникам больше уже не поют хором «Ой, мороз, мороз...» или «Рябинушку». И во дворе дети уже больше не играют в «классики», не прыгают через скакалку.

Я же буду всю жизнь страдать и стыдиться, что в эти мирные десятилетия скрывала своего внука-циника от призыва в армию, от годовой (всего-то!) службы. А вдруг там кто-то его обидит? А вдруг там дедовщина? Военкомат очень искал его, прописанного в моей квартире, десять лет (!) донимал меня постоянно. Особенно в период призыва – каждую весну и осень. Я же скрывала адреса подружек, у которых он жил. Скрывала его, такого рослого, здорового бугая, «защитничка Отечества», родной матери и лично меня. От возможного вражьего нападения... Теперь мне стыдно за это. Хотя тут не только моя вина.

Но каюсь, всё равно каюсь...

И, наверное, долго бы каялась. Но нет. Этого не позволили, не допустили настоящие патриоты: мои отцы, деды и прадеды. Мои великие предки. Они, покойные, но никогда врагом не сломленные, отстоявшие Родину и лично меня, поднялись недавно Бессмертным полком. Напомнили о себе. И как живые, и вместе с живыми, молодыми и старыми, пошли, уверенно зашагали по сёлам и городам. Явили миру нашу бессмертную мощь. И многотысячное это шествие по всей стране, с портретами и наградами на груди показало (до слёз, до мурашек), что Россию не победить!.. И что живут в каждом бьющемся сердце – и ныне, и присно, и во веки веков – вечные наши Вера, Надежда, Любовь и мудрая мать их Софья.

## Ода Его Величеству

В наше время оды как-то не пишут. Поздравляют всё больше простенько: по телефону, порой телеграммой или через Интернет. И не как прежде – в стихах и с музыкой, – а в прозе. В суровой прозе.

В советское время, например, писатель Виктор Астафьев всё-таки сочинил хвалебную песнь огороду. Он так и назвал её: «Ода русскому огороду». Написано талантливо (впрочем, как и всё у него). Но обычно оды, как возвышенный комплимент, писали поэты. Кому-то, чему-то. От Горация до Петрарки, от Ломоносова до Пушкина, от Баратынского до Гумилёва... и так далее.

Но вот далее дело с одами как раз заглохло. В XX веке после суровых, кровавых войн и революций этот изысканный жанр как-то увял. И пока, уже в новом веке, что-то не расцвёл, не возродился. А мне давно хотелось воспеть один бытовой предмет, который уже много лет всё служит и служит мне, да и всему человечеству.

И называется он обычно и прозаично: таз. Но это был не просто таз, это Его Величество Таз. Ни клейма, ни печати у него не было. И неизвестно – когда, в каком месте и кем он рождён.

О, как долго этот эмалированный белый таз сопровождал меня в жизни!.. Сперва он, конечно, сопровождал мою бабушку, затем маму, потом уж меня. И слыл твёрдым, послушным и щедрым, ибо был широк, глубок и распахнут. Постоянно, конечно, блестящий – поскольку дочиста вымытый, – он казался свежим, как новорождённый. А главное, был всегда очень нужен, порой просто необходим. И притом в самых важных и разных случаях: «Я без него как без рук», – говорила бабушка и доставала его из ларя в кухне. И мама так говорила. И потом я.

Во-первых, в этом тазу, конечно, стирали и полоскали бельё. Представляете, сколько всякого белья благодаря ему за целый век стало чистым?.. И если это бельё сложить, то стопка достанет, наверное, до неба.

Во-вторых, в нём купали детей. И бабушкиных, и маминих, и моих (три поколения в нём перемылись, перекупались!). И их румяные голые попки сидели в горячей воде на белом дне таза.

И в общие бани этот таз носили с собой: «для ребёнка». В одной руке сумка с чистым бельём, мочалкой и мылом, в другой – таз. А в помывочном зале, где в душном, мокром пару стоял гулкий шум водопада да стук казённых цинковых шаек о двух ручках, всюду, как в преисподней, блестели тела обнажённых женщин с треугольником тёмных волос под животом. Старых и молодых. Сидящих на горячих каменных лавках, обданных кипятком, или толпящихся у кранов с горячей водой. (У нас и в бане не обходилось без очередей.) А в мыльной пене нашего таза до блеска мылись и полоскались наши волосы – тёмные или седые, длинные или короткие.

Я помню две бани моего детства. В Останкино и на Таганке, вернее, на Андроньевке. Когда жила у бабушки – бани андроньевские были на высокой горе у Андроникова монастыря. Туда мы с бабушкой после серьёзных, продуманных сборов (взрослые брали с собой исподнее чистое бельё, и для меня – рубашонку, чулочки) ходили не спеша, даже торжественно, и пешком, пересекая Садовое кольцо. Бабушка никогда не спешила, а мама вечно торопилась куда-то.

С горы, от стен монастырского храма, будто с высоты птичьего полёта, нам широко открывалась картина – как некогда благим рублёвским монахам-строителям... Внизу темнела любимая наша Язуза, речка-невеличка с задумчивым её течением. Мост через Язузу к Курскому. И дальше уже в Заречье, в Сыромятниках виделись, словно разбросанные игрушки, низкие, будто прижатые тучами, убогие крыши домов и сараев. Глухие заборы и чёрные стаи ворон. А мы, старый и малый, стояли у святых белокаменных стен, перекрестясь, смотрели на воз-

несённые золотые кресты куполов, которые словно соединяли небо и землю. И мне хотелось раскинуть мои детские руки, сгрести, подтянуть снизу вверх эту серую даль с вороньим граем – сюда, под золотой свет святых куполов.

А когда я жила у мамы в Останкино, ездили мыться в бани за пять остановок в село Алексеевское, к заводу «Калибр». Баня вплотную примыкала к нему, считалась заводской, и рабочие после смен, в отличие от городских, мылись бесплатно. Дни – мужские и женские – чередовались. Расписание кассирша писала чернилами от руки и вывешивала бумажку снаружи на дверь предбанника.

В зале голые, беззащитные люди тёрли друг другу спины, окатывались из шаяк горячей водой. А в то же время за стеной, в оружейном цеху, исхудалые, измученные войной женщины и подростки в ватниках изготавливали, таскали, грузили снаряды для фронта – разных тяжёлых калибров. Громыхая, плыла без остановки по цеху чёрная лента конвейера. Словно в отчаянье, надрывно стучали, крутились станки. Горько пахло машинным маслом, металлом, смертью. И острые носатые снаряды сотнями копились в цехах у вагонеток и во дворе – у платформ и товарняков. Ожидали отправки на фронт. Невозвратно. Жизнь и смерть дышали рядом.

И в эти вот ближние бани мы с мамой ездили из нашего Останкино на гремящем трамвае. За пять остановок. С белым семейным тазом и сумкой, набитой сменным чистым бельём, и свёртком с мочалкой и мылом. Кондукторша в перчатках без пальцев (их отрезали, чтобы удобнее было считать мелочь за проезд) обычно кричала охрипшим голосом на весь вагон: «Следующая остановка – завод „Калибр“. Бани!»

А однажды в шумном помывочном зале я, тогда первоклассница, испытала шок. Настоящее потрясение!.. Уже вымытая мамой «до скрипа», я сидела по-турецки – худые коленки в воде – в нашем белом просторном тазу и смотрела на маму, стоящую поодаль с шайкой среди голых женщин, у кранов. И неожиданно... вдруг – о ужас! – даже дыхание внезапно остановилось... Я узнала в лицо саму Раису Петровну, свою любимую молодую учительницу. Но она была... не она. Потому что совершенно без одежды... Ну совсем, совсем го-ла-я. Руки, ноги и груди. И ещё... С тёмным, как у всех, треугольником под животом...

Она стояла с шайкой рядом с мамой, и они беседовали. Да-да... О чём-то мирно, спокойно беседовали. Словно бы так всё и надо. Но она-то, она была моя учительница!.. А тут какая-то чуждая, белотелая, о двух руках и ногах, стояла голая... перед всеми... И этот треугольник под животом!.. Ах, только бы не повернулась ко мне! Я замерла, я умерла, вобрала голову в плечи. Мои щёки, лицо заливал жгучий горячий стыд. А сердце словно остановилось и не хотело биться... Только бы меня не увидела!.. Только бы не увидела. Не узнала. Вот такую – голую, сидящую, как младенец, в воде, в этом белом домашнем тазу...

Мне хотелось ослепнуть. Испариться, исчезнуть, словно невидимка... Но тут мама спасла дело. Она как ни в чём не бывало подошла с полной шайкой воды. «А знаешь, кого я сейчас встретила?.. Твою учительницу». И грохнув шайку на камень лавки, невольно загородила меня... и тем самым спасла.

А ведь только сегодня утром в классе стройная, пышноволосяя Раиса Петровна вызывала меня, послушную ученицу, к доске. А заканчивая урок, громко диктовала классу домашнее задание на вторник. И вдруг... Вдруг – такое! Невыносимое. Немыслимое, до слёз.

Ах, Раиса Петровна!.. Моя дорогая... Как там в школьной песне поётся? – «Учительница первая моя!» Вы научили меня русскому алфавиту. Научили бережно, ровно писать эти буквы в тетрадке, макая стальное перо-лягушку в чернильницу-непроливайку. Затем научили из этих букв составлять слова. Потом связывать слова в предложения. А предложения – в ясные мысли. И я стала писать. И вот пишу. Всю жизнь пишу. Даже книги. И Вам пишу. И о Вас...

Где Вы, моя бесценная?.. Живы ли?.. А если нет, где Ваша могила? И я поклонюсь ей и с благодарностью припаду. Пусть родная наша земля Вам будет пухом.

И Господь простит все грехи. А у Него мёртвых нет. Значит, встретимся.

Но однажды что-то сказав *во-первых* про мой эмалированный Его Величество Таз, и даже уже *во-вторых*, думаю, что надо сказать и *в-третьих*.

А в-третьих, он участвовал во всех главных семейных делах. Во всём помогал. По праздникам – и малым, и большим, многолюдным (Рождество, Новый год или свадьба) – в этом белом тазу готовили винегрет. Весело резали в него, мелко и крупно, разноцветные варёные овощи. Потом щедро, от души, поливали эту красоту подсолнечным маслом и долго-долго размешивали.

Но... с наступлением праздника тазик почему-то прятали в кухне, в тёмный дощатый ларь, а в комнате царствовала другая посуда. Фарфор. Сервировка. Салатники и блюда. Впрочем, таз привык к этой участи...

А ещё в нём порою месили тесто для выпечки. Самое разное: пшеничное и ржаное, серое и белое, – но всегда мягкое, упругое, как резина, и липнущее к рукам. Тесто бывало и тощескудное на воде, и богатое на масле. Может быть, сладкое или постное, солёное или дрожжевое, с ванилью и без. В зависимости от времени, что тикает за окном. От эпохи, что неумолимо стоит на дворе.

А ещё – в послевоенные нищие годы этот таз был использован изобретательной бабушкой для шитья. И в этом был фирменный её секрет. Именно с помощью тазика зимой и летом она как могла наряжала, одевала свою любимую внучку. Кроила мне юбочки, сарафаны и платья. Тканей в продаже не было, и не имелось денег на ткань, но была умная голова и белый таз. И ещё разные спорки старой одежды (от слова «пороть», распарывать). От дедовых курток и брюк, старых халатов и пёстрых юбок. Конечно, со спорками было много возни. Их стирали в горчице, сушили и гладили. Зато потом... А потом в умелых руках получался шедевр.

Обычно вечером с обеденного стола бабушка убирала скатерть, расстилала приготовленный кусок ткани из подола изношенного халата или спинки клетчатой рубахи деда. И колдовство начиналось. Сверху на эту ткань торжественно укладывался наш таз, перевёрнутый вверх дном. И вокруг большими ножницами по краю таза резалась выкройка. Лишь весело щёлкал, постукивал металл о металл. «Чик-чик... Чик-чик!» – и вскоре был готов идеальный круг.

Потом это мягкое «солнышко» складывалось пополам. Затем ещё пополам... и ещё. Потом уголок сверху аккуратно отрезался, и получалось «горлышко». Я, замерев, с восторгом смотрела на это чудодейство со стороны. Но тут бабушка, подняв на лоб очки, подзывала меня к себе на примерку:

– А ну-ка, детка, повернись... Встань передо мной...

Подскочив, я радостно выкрикивала:

– Как лист перед травой!

И «горлышко», скользнув по голове, падало мне на плечи, а солнышко опускалось ниже.

– Ну, вот тебе и обновка ко дню рождения. Теперь дело за малым: притачать весёлые крылышки и подшить на машинке. Но крылышки из другой ткани, – и бабушка кивает на соседний диван. – У меня там остались цветные куски-лоскутки. Из них вот и выберем... – Взяв за плечики, она поворачивает меня перед собой. С удовольствием оглядывает свою любимую маленькую модель. Порой даже советуется: – Или может, пониже опустим? До кокетки? А здесь пришьём вставку вон из того банта? Этот цвет – терракота. Запомни. Бант репсовый. Ему сносу не будет. И по цвету хорошая комбинация. Я носила его ещё в гимназии, на бальном бархатном платье. Сзади, на талии.

На диване распахнут старинный лаковый чемоданчик. Из него вынута и раскидана вокруг пёстрая масса всяких обрезков, ленточек, шнурков, кружев, бантиков и бантов. И всё это нежно пахнет духами и стариной. Да при таком богатстве разве можно ребёнку быть нищей, плохо одетой?

– А вон та чёрная атласная лента... – кивает бабушка на диван, – была у меня на груди чёрного, по фигуре, длинного платья. Называлось оно «амазонка». Я в нём скакала на лошади по полям и лугам. В шляпе с белым шарфом.... Он на ветру за спиной развевался. Очень красиво! – И добавляла: – Только в дамском седле сидеть неудобно. Я так и не привыкла. Куда лучше было обычное. – За очками её глаза улыбаются. – А может, мы сочиним тебе всё же юбку-солнышко? Как в прошлом году?..

И я тотчас подпрыгиваю:

– Солнышко!.. Солнышко!..

И вот уже на столе под светом жёлтого абажура стоит чудо техники – чёрная швейная машинка «Зингер» с лакированным вензелем на боку. И бабушка, склонясь, двигает ткань ладонями и строчит, строчит на ней мою обновку. Подбирает даже нитки по цвету. И я, счастливая, тут как тут. Я рядом, я нужна. И даже помогаю: вставляю нитку в ушко иголки. Вот бабушка уже подшивает подол и «кокетку». И стук безотказной немецкой машинки, её стальной пульки-шпульки словно автоматная очередь прошивает тишину комнаты. Вырывается в коридор и наружу, в открытую форточку...

А наш белый таз, достойно отработав своё, гордо стоит у стены и ждёт, когда хозяйка отнесёт его в кухню, на место. И запрет на замок в дощатый высокий ларь, который заменяет ей кухонный стол. И перевернув, положит его поверх иных, очень старых, но нужных вещей – таких, как узкий ребристый рубель из дуба для катанья-глажки постельного льняного белья; как квадратные жестяные противни для пирогов; как круглые фигурные формы для выпечки куличей к Пасхе; как оцинкованная стиральная доска; как деревянное корытце из липы для рубки хрустких капустных кочанов для посола на зиму, и где ещё спрятаны разные вёдра и вёдрышки...

Но наш трудовой белый Таз будет всё-таки сверху, чтоб под рукой. Он в доме всё-таки главный. И будет всегда важней и нужней других!..

А мне бабушка подарила его на свадьбу, вместе с другой посудой. И сейчас он – ветеран труда! – уже старенький, весь в сколах и трещинах. Но всё равно повторю благодарно: «Да здравствует Его уважаемое Величество!»

## И надо жить... (из блокнотов разных лет)

*Бывает в жизни всё, бывает даже смерть...  
Но надо жить и надо сметь...*

**Э. Ростан**  
**«Сирано де Бержерак»**

Во ВГИКе мы писали подобные записки просто «одной левой» на сценарном факультете – к своим курсовым и дипломным работам.

Хотя я защищала диплом уже по моей второй книге прозы «Катилось колечко» (издательство «Советская Россия»). Это был редкий случай. За несколько лет до меня во ВГИКе учились и стали писателями только Нагибин, Амлинский, Шпаликов. Прочие – сценаристы.

Нынче кончается второе тысячелетие от Рождества Христова.

К сожалению, Россия вляпалась (её вляпали) в капитализм. Грядёт новое время. Уж и не знаю, что готовит оно, что нам всем принесёт?

Но кое-что всё-таки уже принесло. Наглядно. В виде свободы слова. Хотя слишком дорогой ценой. После гибели целой страны, моей Родины. Любимой, прекрасной. Только почему такой жестокой ценой?.. Тогда зачем мне далась эта свобода?

И всё-таки...

\* \* \*

...Даже не верится, что настал момент, когда можно отвечать на вопросы анкеты так, как хочется, а не так, «как надо». Наконец дожили!.. Доползли к концу века. А то всю жизнь на всякие там непотребно-потребные вопросы анкет мы, *гомо советикус*, отвечали по принципу: «Нет... нет... не была... не состояла... не участвовала».

А почему, собственно, «нет» и «нет», если «да»? И была, и участвовала, и состояла – хотя бы уже потому, что в те годы жила, и была, и всё видела?..

А всегда «нет», потому что страшно было. И мне, и каждому. За себя страшно, за семью и за детей, за карьеру, за непечатанье, например, твоей новой книги, да и вообще – за судьбу.

На крохотную нашу кухню на пятом этаже в кооперативной двушке-хрущобе на Преображенке, где потолки промерзали, весёлых гостей «на блины» набивалось к нам обычно битком. В основном «тунеядцы», конечно: режиссёры, поэты, художники. И литинститут тут, и технари. Но всё больше наши с Юрой сокурсники-вгиковцы: Б. Шустров, Л. Володарский, В. Андреев, Э. Кеосаян, Е. Васильев, троечник-сценарист Э. Топельбег (ныне американцем стал – Эдуард Тополь, видите ли, писатель уже), его беременная невеста – киновед и моя подруга Ира Калинина, которую он позже, конечно, бросил...

Любили у нас бывать и тогда ещё начинающие поэты-писатели: Ю. Казаков, В. Лихоносов, Е. Храмов, В. Костров, В. Вучетич, Ф. Розинер, О. Дмитриев, А. Заурих. Были и физики-лирики. Если сидели в кухне, то буквально плечом к плечу, а в комнате – попросторней. От сигаретного дыма было синим-синё, играла гитара, проигрыватель крутил пластинки (всё больше поляков, чехов: «Руди риц», «Филипинок», Эву Демарчик). Отчаянно танцевали твист, только что народившийся, читали стихи, весело ели блины, спорили. Я вслух с выражением читала Зоценко – «Баню», «Аристократку» из только что вышедшей книги. Все смеялись взахлёб...

Почти без оглядки упивались свободой слова, открытием ранее запрещённых Цветаевой, Есенина, Мандельштама, Аверченко, Зощенко. Но порой после особенно острого анекдота или словца про «любимую партию и правительство» мой муж Юра картинно так, под общий смех, стучал в стенку и выразительно возглашал: «Это шутка! Шутка!» или: «Мы пошутили!» Потому что все знали тогда: и у стен есть уши. В общем, повсюду царила «кухонная оттепель», лихая свобода. Но и она частенько кончалась плохо, хотя за окном расцветала уже оттепель шестидесятых.

Однако позже опять закрутили гайки. Как одеялом, всех душно накрыл брежневский застой. Уже на семинарах молодых талантов, организуемых компартией (которые любила посещать министр культуры и демократка, красивая Екатерина Алексеевна Фурцева, мы все не раз там с ней общались), наши мастера слова – например, Галич, Окуджава и прочие – пели под гитару свои «нетленки» с оглядкой, с опаской.

Помню, как Галича после очередного нашего ликующего сборища у него в номере в Комарово вызвали в Ленинград на ковёр к всесильному члену Политбюро ЦК КПСС Григорию Васильевичу Романову. Не было Галича дня два. Мы, молодые поэты-прозаики, киношники и художники, все извлеклись в ожидании. И если честно, перетрухали, были все словно в прострации. Лекций на семинарах почти не слышали. Наконец Галич вернулся. Весь чёрный, но как всегда гордый, прямой и красивый. А за обедом сказал: «Шабаш. Больше у меня не собираемся. Приказ получил – заткнуться, не разлагать вас – будущее советской культуры. А иначе...» И вскинул палец.

Но «иначе» тогда не случилось. (Иначе было потом.) И мы опять после каждого ужина втихаря тянулись к нему в домик по заснеженной тропке: мастеров селили отдельно, не в главном корпусе, а в деревянных коттеджах. Жадно внимали звукам его гитары, его густому голосу, а главное – дерзким мыслям: «Облака плывут в Абакан...» и пр., и пр. В сигаретном дыму, сгрудившись в тесном номере, мы снова сидели на казённых койках и стульях и жадно слушали «Физиков», «Карасей». И тогда ещё новенькое – важная песня: «Вот как просто попасть в первачи... (богачи, стукачи) / Промолчи, промолчи, промолчи...»

Но в дальнейшем преподавать на семинарах молодых талантов ещё вчера успешного драматурга Галича не приглашали.

Вот пишу эти строки, и не уходит образ Галича-эмигранта...

Вспоминаю. Прибалтика, Комарово. Семинар молодых талантов. Сосны, ночной ветер за окнами, комната мастера, дым сигарет коромыслом. И мы, глупые молодые таланты, сидим плотно по стульям и диванам, плечо к плечу, и над нами, как бы объединяя, звучит голос Галича. Сочный, густой. «Облака плывут, облака... / В Абакан плывут, в Абакан...» И ещё его же, пронзительно яркое, с болью: «Мы похоронены где-то под Нарвой. / Так и лежим, как шагали, попарно...» Блеск же!

А там... Парижские эмигранты кучкуются, друг за друга цепляясь, имитируют прежнюю жизнь. Больше цепляться-то не за что...

Думая о наших эмигрантах-писателях, мою душу так и разбирает злая досада: «Ну, зачем же, зачем ты, дурак, уехал?.. У тебя ж всё было в руках. А главное – была Родина, была твердь под ногами, опора, будущее. Вернуться надеялся? – Но тогда ведь не возвращались, и ты, уезжая, прекрасно знал это. И теперь не стони: „Когда я вернусь?.. Ах, когда я вернусь?..“» Да никогда не вернёшься. Уже никогда. Даже если б и выжил. Поздно. Ни душой не вернёшься, ни телом...

Спросишь: а как же Аксёнов?.. А его «Москва Ква-Ква» – то вернулась?..

Да лучше бы не возвращалась. Даже если бы ты, как хитрец Евтушенко, заранее оплатил возврат своего плена, своего загнившего праха в Россию и велел закопать в Переделкино, да

ещё «поближе к гению Пастернаку», всё равно ты бы исчез. Ты просто смыт, навсегда удалён. Ты – Ква-Ква. В России особенно не терпят *шуд*: перебежчиков и предателей. Для нас они навечно отмечены клеймом презренья...

\* \* \*

Помню популярный анекдот тех лет. Петька спрашивает Чапаева: «Что это вы всё пишете, Василий Иванович?» – «Оперу пишу, Петька, оперу...» – «Про меня там чего-нибудь напишите...» – «А как же, Петька. Обязательно напишу. Опер велел про всех писать!»

В те времена (как, впрочем, в любые) настоящих борцов, героев-мучеников, готовых ради идеи идти на закланье – например, на Красную площадь с банкой бензина и плакатами типа: «Долой власть! Долой коммунизм!», – было совсем немного. Только однажды с Новодворской вышли туда всего человек восемь. Эти «почти герои» были готовы себя поджечь. И западники (либерасты-русофобы) даже восторгались по радио «Свобода» их бесстрашием.

А для рядовых, обычных людей, а не героев, главным в те годы было просто выжить. Просто жить, работать, учиться, растить детей. Такой была и я. В противостояниях не участвовала. Ничего не подписывала, не старалась что-то свергать, против чего-то бороться. Тем более против государства. Ведь это была Россия, Родина. И на груди я честно носила значок ВЛКСМ. И даже была в школе комсоргом. А кругом все шутили: «Главное что? – Не высываться!». Чтоб по башке не дали...»

Эту мудрость – не высываться! – моё поколение усвоило с младых ногтей. Может, поэтому я так и не обрела ни особого честолюбия, ни протестной дерзости. Никуда не лезла, не вляпалась ни во власть, ни во льготы разные писательские, «секретарские». И даже в КПСС всерьёз вступить не успела. Хотя после смерти мужа я, горем прибитая, растерялась. А друзья, отвлекая меня, упрямо тащили в партию. (Тогда квота в райкомах была сродни поощрению. В год эту честь только двоим, например, членам Союза писателей предлагали. Так что я в кандидатах так и застряла.)

В детстве, в Останкино, я, послушная и опрятная девочка, на людях старалась быть незаметной. Вобрать голову в плечи и одеться похуже. Тогда быть по-пролетарски одетой было всегда спокойнее. Это значило быть «как все». Ты из крестьянско-пролетарской среды. Быть самой массой, толпой – как все дети-голодранцы, ребятишки нашего барачного Останкино. На задворках столицы.

Моя милая мама этому вечно и всячески сопротивлялась. И бабушка тоже. Она упрямо перешивала мне из старья, из спорков (распоротой одежды) что-нибудь по красивее, по наряднее. Но любой обновке я радовалась лишь до порога, чтобы потрафить старшим. Знала, что во дворе мне новое платье нарочно заляпают, да ещё до слёз доведут. «Вырядилась! Недорезанная буржуйка!» Это выражение очень долго жило при советской власти. И до войны, и позже...

Да что там говорить!.. Страх – вещь противная, липкая. Тогда на опаске и боязни держалось многое. На них да ещё на слепой, но горячей, вполне искренней вере в светлое будущее, в коммунизм. И все трудовые порывы, и все горячие подвиги, все героизмы-энтузиазмы тех пятилеток были заквашены, замешаны на двух чувствах – вере и страхе.

Тогда все искренне верили и искренне же боялись. Жили с оглядкой. (А вдруг кто донос на тебя напишет?) Боялись везде и все, от старых до малых. Это сейчас, как говорит мой сосед-бизнесмен, «все развинтились и распустились, Сталина на вас нет. А ведь раньше были будто винтики. Сидели тихо, плотненько так...» – И сосед, занимающийся риелторством, молча вставляет ключ в замок своей очередной квартиры.

К сожалению, у людей моего поколения этот страх до сих пор сидит где-то под ложечкой. Например, перед соседским доносом. Кстати, заметьте: «страх» (то есть трусость, боязнь) и «страховка» (ограда, защита) произошли от одного корня. Порой нынче начнёшь громко бол-

тать о политике – и вдруг как хлестнёт: «Стоп, голубушка, стоп!» – и сразу язык прикусишь. Сегодня молодым это совсем незнакомо. Они в лёгкой своей болтовне, в безответственном трёпе просто пределов не знают. Порой слушать противно... А нам, старшим, как-то думается: а вдруг всё вернётся?.. И потянут тебя, голубушку, «за язык» куда следует?

Видно, этот вирус страха, эта подкорковая боязнь, самоцензура у нашего поколения сохранится до смерти.

Хотя именно моему поколению «шестидесятников» повезло. Ведь мы пуганы были меньше, не как родители... Но непривычной стала внезапная эта свобода слова. Её величество СВОБОДА. Ведь в последние десятилетия века даже на горизонте не маячило таких перемен. Пока Свобода – как новая одежда, которая велика в плечах. Всё сползает куда-то: то на правое плечо, то на левое. Её надо осознать, подогнать по росту, по смыслу. А может, и дорасти до неё?..

Но вопрос главный остался: какой ценой она вдруг получена?.. Не в этом ли перекося?.. Ценой гибели целой страны?.. Моей родины?.. Значит, теперь на одной чаше весов – рынок, заманчивый бизнес, свобода слова, попросту – говорильня. А на другой чаше – Россия, моя страна, где я родилась, где жили предки, многие поколения.

Не слишком ли высока цена?

\* \* \*

И всё же я – человек счастливый. Счастье, кстати, оно ведь не вовне, оно внутри каждого человека. В сложные тридцатые годы «придворный» поэт Николай Асеев вполне искренне писал, а мы, школьники, наизусть это учили:

*Что такое счастье? Соучастье  
в добрых человеческих делах,  
в жарком вздохе разделённой страсти,  
в жарком хлебе, собранном в полях.*

В те годы вслух заикаться про какую-то «страсть со вздохами» вообще было неприлично. Но Асеев под конец жизни на всё уж рукой махнул!.. Несчастный был человек, хотя талантливый и даже обласканный властью. Как и друг его – мудрый, всё понимающий поэт Михаил Светлов, мой учитель. Я о нём написала «Про Светлова. И пара слов о Маяковском».

А о себе я могу сказать, что счастливая. Хотя бы уже потому, что в жутком 1938-м году только появилась на свет... По промыслу Божьему, не понимая ещё, зачем и в какой мир вхожу. (Поколению, раньше явившемуся в мир, думаю, повезло меньше.)

\* \* \*

Родилась я в Москве, у студентов, спортсменов и комсомольцев, в общежитии Тимирязевки (ТСХА). У восемнадцатилетней москвички Нины Никольской – очень интеллигентной, музыкальной девушки из семьи «недорезанных буржуев», улыбчивой, с коротко стриженными под мальчика (по моде тех лет) волосами, и раскудрявого, бесшабашного, голубоокого активиста Евгения Ракши – «лапотника», приехавшего в Москву после рабфака из Киева, а родом из деревни Пединовки Черкасского уезда.

Так вот, родилась я в роддоме у Соломенной сторожки от неравного брака («мезальянс!» – как говорила бабушка, мамина мама). Родилась, в общем-то, неожиданной-негаданной и потому нежеланной... От их первой нецеломудренной ночи и молодой, горячей любви.

Собственно, у меня был риск вообще не родиться. А это было бы значительно хуже. Но пронесло. За что слава и Богу, и моим мудрым московским бабушке с дедом. Они всё же заставили молодых перед лицом такой неприятности, как беременность, расписаться. На комсомольской свадьбе в общежитии красавица Ниночка удачно скрывала округлый животик.

Но главное (!) – комсомольская ячейка и деканат агрономического факультета выделили деревенскому активисту, рабфаковцу Евгению Ракше (жена-москвичка не принималась в расчёт) отдельную комнатку в общежитии на Лиственничной аллее – до получения диплома. А к ней еще и два стула, и казённую койку, и шкаф с зеркалом!..

А кузнецовский фарфор, круглый ломберный столик с зелёным сукном и старинное кресло привезли молодым с Таганки в качестве приданого мои бабушка с дедом-профессором. Они смирились в итоге с выбором дочери. А куда денешься?.. Конечно, моя бабушка Зинаида Ивановна Никольская (статная, красивая, из древнего новгородского рода, где значились и дворяне, и священники, и врачи) и мамин отчим – Аркадий Иванович Трошев, авиатор, блестящий выпускник академии Жуковского (1927 г.), а затем профессор МАИ и МАТИ, сокурсник и друг Игоря Стечкина (создателя автоматического пистолета), не были слишком рады браку их Нины с хлопцем-колхозником, «гегемоном», не умевшим даже пользоваться за столом ножом и вилкой.

Однако упаси Бог было показать или высказать это! Это было опасно!.. Ведь именно он, пролетарий и гегемон, снисходил до их дочери, «исправлял» её неудачное происхождение. И Ниночкины родители утешались уже тем, что молодые с младенцем не оказались у них на Таганке-Землянке, в их старинной (правда, уже уплотнённой подселенцами) квартирке № 14 на Ульяновской, 18 – с беккеровским пианино, стильной дубовой мебелью, зелёными порттьерами и остатками столового серебра, чудом не конфискованного большевиками, в голод и в НЭП не проданного в Торгсин (так называлась организация по торговле с иностранцами).

Позднее их любимая внучка Ирочка, спасаясь от разных семейных невзгод, временами будет жить у них – и школьницей, и студенткой – в этой уютной, пахнувшей пирогами квартирке, с автомобильным гудком вместо звонка. («Трошевым – два гудка». Вместо сломанного звонка дед-профессор где-то раздобыл клаксон, и казалось, что это легковое авто подкатило к дверям и ждёт их.)

Дед умрёт от туберкулёза в 1953-м, не дожив месяца до смерти вождя всех народов. А его любящая жена и любимая моя бабушка Зинаида Ивановна надолго переживёт его и будет всегда моей палочкой-выручалочкой. Эта истинная аристократка по духу умудрится прожить до девяноста четырёх лет, сохранив светлый ум, достоинство и благородную стать в недостойной и порой даже убогой жизни.

Итак, в 1939-м я голубоглазым бутузом уже бегала по длинным общежитским коридорам на Лиственничной аллее. (Где буду потом, уже в 58-м – правда, всего два года, – бегать уже студенткой агрофака ТСХА.) И мамыны сокурсники-агрономы частенько, подхватив кудрявую малышку, затаскивали её в разные комнаты и, посадив на стол, кормили пёстрыми леденцами из коробки с надписью «Монпансье». А юная мама Нина, теперь уже Ракша, металась в панике, разыскивая дорожную пропажу по всем этажам...

Так что сама дата моего явления на свет уже спасла меня от возможной гибели. От «прямого попадания» на полях жизненных сражений. Год одновременно был и тяжкий, кровавый, даже страшный, но и полный веры в будущее, полный бодрого общенародного энтузиазма.

*От Москвы до самых до окраин,  
С южных гор до северных морей,  
Человек проходит как хозяин  
Необъятной родины своей!*

.....

*Я другой такой страны не знаю,  
Где так вольно дышит человек!*

И во время Великой Отечественной я не погибла, потому что осенью сорок первого, после бомбёжек Москвы, мы с мамой уехали в эвакуацию на Урал. И в голодные послевоенные годы выжила, потому что взрослые старались ребёнку сунуть в рот любой съедобный кусок. И в начале пятидесятых я, старшеклассница, по зову сердца рванула на алтайскую целину. Да и потом для студентки всё обошлось, в начале шестидесятых, когда уже мало, но всё же порой сажали «за язык», однако наступила оттепель.

Правда, в 1960-е был один опасный момент. Уже имея дочь и мужа-художника, тоже вгиковца, я с некоторым недоумением узнала, что моя бабушка, мать моего отца Евгения Ракши – Мария Васильевна Винникова, как значилось в документах, многодетная курянка, вышедшая в начале века замуж под Киев в село Пединовку за деревенского фельдшера Игоря Ракшу, является младшей сестрой «той самой» запрещённой эмигрантки Надежды Плевицкой (Винниковой), легендарной русской певицы. Она эмигрировала из СССР в 1920 году и погибла во Франции в 1940-м.

Более того, согласно семейному преданию и переписке сестер, она якобы является даже не тёткой, а матерью Евгения – моего отца. И спасаясь от кровавого бунта и «безобразий» (тогда ведь все считали свой отъезд временным), она якобы оставила своего кроху-сына (как и многие прочие: скажем, Серебряковы, Пушкины, Бенуа) у старшей сестры, в тихой глухой деревеньке.

И потом, как ни рвалась из Парижа на родину, вернуться так и не смогла. Дзержинский на посылаемых прошениях писал «Отказать», «Отказать». Только посылки она могла отправлять из Парижа – с дорогими детскими нарядами: бархатными штанишками, матросками, беретками. Представляете, как в деревенской глуши, в голодной многодетной семье были тогда этому «рады»? Да ещё при разгуле-то ГПУ?! Одно появление почтальона возле хаты считали лихом, несчастьем...

Эти посылки по ночам Мария Васильевна с мужем-фельдшером Ракшой закапывали при свете луны подальше от глаз людских в саду, под ореховым дедовским деревом. От греха подальше и до лучших времён... которые всё так и не наступали. А потом связь сестер вообще оборвалась, ибо Плевицкой сообщили, что во время случившегося в СССР страшного голода, когда матери пожирали своих мёртвых детей, вся родня её в Пединовке вымерла.

Однако же обманули: не вся. Ну а в 1937-м уже сама Плевицкая не могла не погибнуть – даже в Париже. От рук, казалось бы, далёкого КГБ – как и её последний муж, замечательный генерал Белой армии Николай Скоблин. Она была оклеветана и арестована (по талантливому сценарию московского полковника Павла Судоплатова, получившего за эту операцию по уничтожению РОВС и орден, и генеральское звание). А в феврале 1940-го она была отравлена во французской тюрьме города Ренн.

Через четыре месяца фашисты без боёв вступили во Францию. Дотошные гестаповцы эксгумировали тело Плевицкой и сделав, по свидетельству Б. Прянишникова, соответствующие химические анализы (дабы разузнать секреты кремлёвской отравы), закопали тело в общей могиле. Об этом я более подробно написала в эссе «Шкатулка с секретом» и в предисловии к мемуарам Надежды Плевицкой «Мой путь с песней», где она рассказывает о многих вещах. В том числе описывает свою дружбу с государем императором Николаем II и его семьёй, с Шаляпиным, Собиновым, Качаловым, Станиславским, Рахманиновым, скульптором Конёнковым, создавшим её портрет, то есть со всем цветом русской интеллигенции начала XX века – и в России, и в эмиграции.

Так вот, эта самая шкатулка, оставленная у её сестры Маши и чудом выжившая, потом сопровождала меня всю жизнь. И ещё я с детства помню чёрный лакированный чемоданчик с

ярко-зелёной шёлковой подкладкой – страшно тяжелый, поскольку был полон больших дореволюционных пластинок: с сидящим мопсом на круглой картинке, с поющим Амуром посередине. Одно время и шкатулку, и чемоданчик мои родители прятали в тайнике: в сарае под дровами. Это было в Останкино, где мы жили после общежития ТСХА.

Однако спустя годы, в шестидесятые, когда я уже училась во ВГИКе и жила отдельно, это неожиданное известие о легендарной родне, поведенное отцом в качестве некоей семейной тайны (раньше ребёнку было опасно такое знать, могла проболтаться), не только не принесло мне гордости или радости, а словно заставило присмиреть. И во ВГИКе, и в Литинституте, и потом... Всё-таки бабка-эмигрантка, не важно, родная или двоюродная. Ведь и я всегда заполняла всяческие анкеты с графой «Есть ли родственники за границей?» и отвечала: «нет, нет и нет». Так что теперь мне не приходилось ни лезть на рожон, ни как-то диссидентствовать, выпуская свои фильмы и книги, поскольку с моим открытым, прямым характером, бесхитростной романтичностью при той фарисейской, совковой жизни, мне могла быть просто хана.

Впрочем, хана на все сто процентов мне была бы, родись я вообще на десять лет раньше. Но вот же – повезло как-то, принесло. Была и отличницей, и целинницей, и активисткой, и комсоргом.

Может быть даже, чтобы всё это некогда (то есть нынче) описать?..

\* \* \*

У меня нет псевдонима. Не люблю вымышленных имён, прозвищ, кличек. И вообще всё, что «псевдо». Правда, работая редактором отдела искусств в журнале «Работница», заполняя порой очередной номер своими статьями в разных рубриках («Живопись», «История», «Благовест», «Проза, поэзия», «Филиппок») поневоле приходилось подписывать материалы – кроме Ракша – своими родовыми фамилиями: Ирина Трошева, Ирина Никольская, Ирина Яковлева, Ирина Епифанова. Ну, и когда «негром» работала (за других сочиняла), подписывалась соответственно чужой фамилией.

Вот таких случаев наберётся немало. Вон они, томики, – все вместе на книжной полке стоят: толстые, разноцветные. Романы, пьесы, повести, написанные мною, однако поименованные только «Перевод Ирины Ракши» – с узбекского, казахского, калмыцкого, кабардинского, азербайджанского... Нет-нет, языков этих я не знаю. Всё написано с так называемых подстрочников. Это в СССР политика такая была – интернациональная. Донорством занимались и лучшие русские писатели, и графоманы. Выводили «нацменов» на мировые, международные, литературные рынки. А сейчас эти популярные некогда авторы уже незалежных, свободных стран осиротели и очень скучают без литературных вливаний. Без русского языка (как без рук) их творческие дела увяли: нет ни книг (статей, стихов, прозы), ни фильмов, ни привычных выходов на Запад или Восток.

Так вот, о фамилии. Мой отец, Евгений Игоревич Ракша, прожил своё голопузое детство в деревне под Киевом, в белёной хатке, среди вишнёво-яблоневых садов. Игорь Ракша был местный пединовский фельдшер (вернее, имя его не Игорь, и даже не Егор, а Игор) – черноглазый, смуглый, маленький такой хохол с Запорожской Сечи.

В Пединовке семью этого безотказного фельдшера (звали на помощь и днём, и ночью) за малорослость прозвали, не без сердечной любви, *Малюкы* – «малыши». И дети все, кроме голубоглазого, светлокудрого Женечки, были малы, смуглы и кареглазы. В бедной и многодетной хате делами заправляла хроменькая, но рукодельная трудяга, очень хозяйственная певунья Мария Винникова, взятая из курян, из «кацапов», родная сестра Надежды Винниковой-Плевичкой. Своеобразная эта фамилия Ракша (с ударением на последнее «а») считается украинской. Там полсела Ракшей.

Есть Ракши и в Крыму, тоже кровная веточка. Иван Ракша (1906–1986), белый офицер, эмигрант, принявший в монастыре под Мюнхеном постриг и получивший имя Игнатий, был направлен епархией зарубежной православной церкви в 1938 году в Палестину в местечко Хеврон, к Дубу Мамврийскому. Вскоре Игнатий стал в монастыре игуменом, любимым всеми палестинскими христианами, местночтимым старцем. И там он совершил подвиг: в годы преступного советского небрежения к русским землям в Палестине на пожертвования, по копейке собранные от паломников всего мира, построил у Вечного Дуба храм во имя Святых Праотцов Авраама и Сарры, пригласившим некогда под сей дуб трёх странников – Святую Троицу.

Вот этот игумен Игнатий (Иван Ракша), явив чудо, и привёл меня случайно в прошлом году – буквально за ухо – на свою могилку. Причём во время моего паломничества на Святую землю. Видно, из всей родни он выбрал меня, как наиболее воцерковленную. А ведь я и знать не знала, где он почил и как жил. Помнила только отцовы слова, случайно некогда обронённые:

– А Иван наш совсем сдвинулся. Где-то в Германии монахом стал, а потом в Палестине сгинул.

Так что на вопросы всевозможных анкет – есть ли родственники за границей, отцу ой как было что скрывать! Однако эта необычайная история – сюжет особый, отдельный, достойный.

\* \* \*

Заехала я как-то под Киев, в Пединовку к тете Наде – Надежде Игоревне Ракше (названной в честь Плевицкой), младшей сестре отца, прожившей всю жизнь в родной, родовой хате. И вот пригласили её, а нежданно-негаданно и меня, на местную свадьбу к дальней родне.

Вечером возле белёной хаты праздничные столы в зелёном саду ломились от блюд. Шум, смех, песни под цимбалы, аккордеон. На головах девчат – венки из цветов, пёстрые ленты. А молодые!.. Они рядышком, застенчивы и красивы. А в стороне от столов, конечно, подарки – гордо разложены под яблоней напоказ, на всеобщее обозрение. Чего там только не было! Всё для начала новой жизни: и посуда, и ложки-вилки, и кастрюльки-ведра, и бельё – постельное и иное, с вышивкой и мережкой, плетёные да кружевные подзоры, скатерти и рушники, расшитые петухами и розами. (И моя московская ваза, привезённая тетушке, пригодилась!)

Но главным подарком был, конечно, раскладной пружинный диван с ярко-красной обивкой. На него никто, естественно, не садился. Куплен он был вскладчину, всем деревенским «миром». Этот диван по-генеральски рдел среди зелени у подворья, и порой на его алую обивку уютно падали с веток ароматные, спелые яблоки. А к спинке был приколот листок из школьной тетради в линейку: почётный список сдавших деньги на этот солидный подарок.

Я наклонилась, читая фамилии, и вдруг замерла, поразившись. Среди редких Гриценков-Проценок в списке пестрели... сплошные Ракши.

Ракши Степаны, Ракши Оксаны, Марии, Иваны... Судя по списку, тут полсела было Ракшей. И удивлённое сердце моё возликовало!.. И потом, сидя уже за столом, я совсем по-иному смотрела на развесёлых гостей и хозяев. Всё вглядывалась в их лица, искала в них что-то моё, знакомое. И с радостью находила, узнавала, угадывала собственные черты. Ведь все они были мои родные.

Родня, родичи, род...

И еще о крылатых ракшах.

Орнитологам хорошо известен обширный птичий отряд ракшеобразных. И В. Даль его знал. Голубокрылая, средних размеров, живая, красивая пичуга. Она же – «ронжа», она же «сизоворонка». Ареал жизни широк: юг средней полосы, Кавказ, Казахстан, Европа. Голубопёрая (реже других цветов), летает с резкими редкими вскриками в стригущем полёте. Удоды, оляпки, зимородки – это все тоже ракши. Они и под лёд зимой смело за кормом ныряют...

Так что пернатая моя родня тоже обширна и симпатична. Правда, девчонкой я страдала от своей необычной фамилии. Думала: ну почему я не Иванова или Петрова? В моём барачном послевоенном детстве ко мне липли дразнилки: «Ракша-лапша», «Ракшист-реваншист». А если ласково, то «Ракшуля». А мне так хотелось, чтобы все меня звали по имени, как папа с мамой в моменты нежности: Иринка, Ирок, Ирочка. Но и тут законы двора были жестоки: «Ирина-перина... Ирка-дырка... Ирастик-головастик».

В общем, моя фамилия действительно опасно выбивалась из ряда Ивановых-Петровых. До сих пор удивляюсь: как яркие мои родители не загремели в те годы просто за фамилию?.. Как выжили?.. Хотя отец-танкист, орденосеиц, всю жизнь воевал с тупой, тоталитарной махиной, пытаюсь пробить её железобетонность и заскорузлость. Мечтал внедрить в производство свои замечательные, дававшие огромные прибыли, сельхозмашины: жатки, сеялки, веялки. Но разве он, инженер-изобретатель, наивный Дон Кихот, мог понять тогда, что по советским колхозным полям не может ходить машина с названием СКСП, то есть «Сеялка-культиватор системы Ракша»?.. Подумаешь, «опель» какой... Какой «мерседес» нашёлся!..

Итак, фамилия и вправду досталась мне нестандартная – никаких псевдонимов не надо. Даже любимый муж мой, художник Юрий Теребилов, когда мы поженились студентами ВГИКа, взял эту фамилию. Сперва просто подписывал так картины к выставкам, а когда родилась дочь Аня, и вовсе паспорт сменил. Не очень-то он любил Михаила-Мефодия Теребилова, мужа своей любимой матушки, человека пившего и не слишком умного. Мой отец, живший тогда в Сибири, был даже горд, что зять взял нашу фамилию. В те годы (не то что теперь) это не частый был случай...

А порой в этой фамилии люди находят что-то индийское. И не случайно. В переводе с санскрита это слово обозначает «защита, оборона, охрана» (кстати, очень я люблю кого-нибудь защищать).

В истории древней Индии есть так называемые *ракшасы* – змее волосые демоны, охранявшие Будду. Парочку таких деревянных масок-ракшасов я привезла некогда из Калькутты, где перевели книгу моих рассказов, и сейчас эти яркие маски висят в кабинете на даче. А вообще-то *Ра* – это не только имя египетского бога Солнца, но и древнее название нашей великой реки Волги. Так что предполагаю, что по её берегам и жили когда-то РАКШИ.

Да и Пушкин Ракшей поминал... «Мой предок Рача...» Кстати, существует ещё и большая станция под Тобольском – «Ракша». Форпост и дозор от набегов степных кочевников.

В конце концов, и у Киплинга своя есть Ракша. С детства каждый знает прародительницу-волчицу, мать большой серой стаи. Она выкормила своим молоком Маугли – человеческое дитя. Именно эта Ракша стала с детства моим идеалом чести, символом справедливости, смелости, доброты. Я без конца читала эту книжку Киплинга, подаренную дедом и затёртую до дыр. Знала все реплики наизусть.

Всё мое детство к праздникам мне дарили книги. И притом чудесные! Тогда всюду в магазинах, больницах и школах висели плакаты с лозунгом белым по красному: «Книга – лучший подарок». (Тогда и других лозунгов всюду было полно. Порою смешных. Например, в отделе соков, в гастрономе на Маломосковской можно было прочесть: «Если хочешь сил моральных и физических сбережь – пейте соков натуральных! Укрепляет грудь и *плечь!*» Потом люди повторяли это уже как шутку, курьёз. А ведь было на самом деле.) В те годы без книжки ребёнку не мыслилось даже дня. Подарочные фолианты: Гоголь, Пушкин, Салтыков-Щедрин, Гончаров, Короленко, Некрасов... Именно они, а не кто иной, стали моими любимыми учителями, как говорится, с младых ногтей. Это были бесценные дары моих дорогих стариков – бабушки и деда – за отличное окончание каждого класса и даже четверти. В твёрдых цветных переплётках, зелёных, жёлтых, синих обложках, они до сих пор гордо стоят на моих книжных полках. И все с нежными надписями, порою в стихах: «Сегодня нашей Ирочке минуло десять лет, любимой

внучке бабушка желает жить сто лет». Но почерк – идеально-каллиграфический – дедов, профессорский. И только подпись внизу бабушкина: «З. Трошева».

Я порой годами жила у них на Таганке. И в школу № 423, что почти за углом, там же ходила, на Садовом кольце. А вечерами бывали у нас литературные чтения. Дедушка, сев в кресло в круге света старинной зелёной настольной лампы читал вслух великолепные книги. Я – малышка – внимала, а бабушка тем временем что-нибудь шила или штопала носки, сунув в дырявую пятку перегоревшую лампочку.

В январе, например, мы читали Некрасова, в феврале – Пушкина, потом Короленко, Гоголя... В общем, всю классику. Навеки запомнила и «Детей подземелья», и «Метель», и три «О» Гончарова – «Обыкновенная история... Обрыв... Обломов...» А вот «Фрегат Паллада» дедушка до времени отменил: «Ещё не по возрасту!». Видел, как скучно мне слушать, как зеваю, не понимая текста.

Так что я на лучшей классике выросла. Может быть, от тех самых «Каштанок», «Муму» и «Маугли» (всегда вызывавших мои горькие слёзы) у меня буквально в крови щемящая любовь к животным и ко всему живому, к тому, что мы называем природой. Я в жизни и муравья не обидела. После дождя собирала по лужам полуживых, бледных, земляных червячков, чтобы не утонули. Зарывала их в траву, в землю. А от слов: «Мы с тобой одной крови» у меня всегда влажнели глаза... Так бы и обняла, так бы и обхватила руками весь этот мир. Такой несчастный, но покуда ещё живой... (Люблю строки Светлова: «Только сердце все мечется, мечется. / Только рук не хватает обнять мне мое человечество...»)

А как же иначе?.. И действительно, разве мы не одной с ними крови?.. Конечно, одной. Да к тому же, если мы еще и птицы, и ракши, «одного с ними имени»!..

И может быть, не случайно одна из ранних серьёзных моих работ – повесть именно о волках. Тех самых, с которыми я в юности на Алтае не раз встречалась... Может быть... В первом издании я назвала эту повесть печально: «Утрата». Её напечатали не только в книге, но и в роман-газете, тираж 3 миллиона экземпляров. Там погибала моя Ракша, моя волчица. Но спустя время это название у меня слямзил один московский технарь, ставший удачливым автором, – Владимир Маканин. Тогда я, огорчённая, при следующем издании переименовала мою повесть в «Охоту на волков». Однако позже и «Охота на волков» переключивалась в название песни Высоцкого... Ну, думаю, ладно...

С названием – это бы ещё ничего. Но вот другой случай. Один популярный среднеазиатский писатель (которому я сдуру подарила на каком-то съезде книгу про своих волков) быстренько вставил сей «волчий сюжет» в свой только что написанный ему «неграми» человеческий роман. К слову сказать, многие молодые республиканские авторы жаловались на этого «гиганта мысли», слабо говорящего по-русски, кстати.

Он был совершенно уверен в своей безнаказанности, своей секретарско-партийной неприкосновенности. Книжки этому азиатскому мудрецу писали за хороший гонорар московские литераторы – тихие интеллигенты. Оттого все «его» романы такие разношёрстные, разностильные, пёстрые...

Ну да ладно. Не нам судить. (Не суди, да не судим будешь.) Пусть миф о его таланте, отмеченном наградами и в Москве, и в республике, поживёт еще до поры до времени. Бывает, в конце концов, – писатель без имени, а имя без писателя (вот это как раз тот случай). В общем ему, именитому лауреату, даже можно посочувствовать. В девяностых годах, вероятно, боясь разоблачения, ожидая смерти своих почтенных «негров», он даже скрылся в малом европейском государстве, послом от своей азиатской страны, уже свободной от СССР. Самому было ясно: всё тайное станет явным.

Ну а всё-таки, как же Ракша?.. Что ж, волчица справилась: выкормила своим молоком целую стаю. Да в придачу ещё и Маугли, человеческое дитя!

Мой первый дом на земле после материнской утробы – шумное студенческое общежитие, братство энтузиастов, строивших новый мир. («Мы наш, мы новый мир построим! Кто был ничем, тот станет всем!») Этот четырёхэтажный корпус общежития № 3 из красного кирпича стоит на Лиственничной аллее и сейчас. Только теперь там процветает какое-то акционерное буржуйское общество.

Мне всегда чудилось, что уже от самого названия – Лиственничная аллея – дивно пахнет хвоей, золотой смолой, мягкой от солнца, свежей тайгой. Да и сегодня эти лиственницы, хоть и постаревшие, измученные городской пыльной жизнью, представьте себе, еще здравствуют. Порой приезжаю туда – побродить, подышать, посмотреть на «опытные» делянки и поля, засеянные злаками.

Что может вспомниться из младенчества? (Даже самой интересно.) Из трёх моих довоенных лет?.. Хотя сперва надо о родителях, поскольку мы родом не просто из детства, а от отца и матери. Наше начало – в них.

Получив диплом ТСХА по специальности «инженер сельхозтехники», мой отец, молодой выдвиженец, был оставлен в столице и получил назначение на ВСХВ (Всесоюзную сельскохозяйственную выставку) – директором павильона «Хлопок». Видно, потому, что на последней студенческой практике он трудился в Узбекистане на хлопковых полях, испытывая первый в стране хлопкоуборочный комбайн. А может, потому, что на ВСХВ все другие, серьёзные павильоны – «Машиностроение», «Животноводство» – уже разобрали другие. То бишь, их раздали более солидным претендентам.

Директором же всей сельхозвыставки был тогда учёный-ботаник Цицин Николай Васильевич. Этот громоздкий дядя, любитель музыки и романсов, очень ценил и отца моего, и маму. Порой заезжал к нам в гости (помню: мама поёт, аккомпанируя себе на пианино, а гости, поклонники и Цицин тут же, стоя и сидя вокруг, подпевают).

И вот однажды Николай Васильевич подарил мне, голубоглазой малышке, деревянного... нет, не деревянного... и не коня, а козла. Из папье-маше, на колёсиках. Серого такого, гладкого – ладонь до сих пор помнит ощущение той, на ощупь, гладкости, – с двумя рогами и бородой-мочалкой. Вскрабавшись на него верхом, я могла тянуть козла за рога, и тогда он блеял, протяжно и жалобно, по-живому, словно плакал, жалуясь на судьбу. Этот звук тоже остался в памяти. И я от какой-то неясной жалости в унисон начинала реветь. И наши голоса сливались в дуэт. А папа целовал меня в макушку: «Не тяни козла за рога!» И все взрослые весело хохотали. Им было не понять – с чего это ребёнок вдруг плачет?..

И этот козёл был моей первой запомнившейся игрушкой, моим дружочком. Именно он, любимый, сохранился чудом и после войны, когда мы с мамой вернулись с Урала из эвакуации, где жили возле деревни Увал в землянке. В полном смысле, буквально в земле. Оттуда и пошли потом мамины ранние ревматизмы, и мои тоже.

В общем вернулись мы в Останкино в свою разгромленную квартиру в конце войны. В ней, в свою очередь, жили в войну несчастные белорусские беженцы, погорельцы... Часть нашей мебели – кресла, ломберный столик (приданое мамы), старинные ноты, рамы картин и книги – они сожгли морозной зимой в «буржуйке», простодушно объясняя нам: «Мы топили только тем, что постарее». Но часть вещей и почему-то этот козёл всё же выжили. Может быть, чтобы остаться знаком времени, знаком памяти?..

Ещё с тех давних пор мне запомнился восторженный папин рассказ об актрисе Любове Орловой, снимавшейся на ВСХВ возле папиного павильона, на широких, с колоннадой, ступенях. Кажется, фильм «Весна»?.. Помню мамины ревность и недовольство, её горячее, немедленное желание прийти к нему на работу и присутствовать при съёмках этой актрисы-разлучницы. И ещё – срочный пошив такого же серого, как у Орловой, жакета с высокими плечиками.

Однако, всё-таки постояв на съёмках в первом ряду зевая и перехватив обворожительную улыбку актрисы, мама сразу же всё им «простила». И великой актрисе, и папе.

Но жакет всё-таки сшила. И даже купила перчатки.

Ещё помню рассказ о том, как до войны воздвигали на ВСХВ огромный памятник Сталину. Тогда эти памятники росли по стране, как грибы валуи под дождём. А тут Всесоюзная выставка! Ну как без него?

И он пророс даже на внутренней площади ВСХВ, перед большим павильоном со стеклянным куполом крыши (в шестидесятые павильон стал называться «Космос»). Строили монумент очень быстро, ночами. Тогда все ночами работали. И сам вождь, и вся страна. Памятник был белого цвета, гигантский – высотой с нынешнюю космическую ракету, занявшую его место. (Впрочем, гигантомания тех лет знавала памятники вождям и повыше.)

И вот однажды звёздной ночью принимать уже готовое произведение искусства приехал из Кремля сам Генералиссимус. Со свитой. Как же там всех, причастных к этому делу, трясло!..

Вот эскорт из блестящих чёрных машин, быстро подъехав, замер, как вкопанный, почти у подножья скульптуры. Вождь очень медленно вышел из автомобиля – в серой шинели, серой фуражке. В свете прожекторов молча и близко встал перед тёмным рядом обморочно застывших специалистов: скульпторов, архитекторов, строителей, директоров павильонов.

Сам глава ВСХВ Цицин, бледный, без шапки, стоя рядом, бормотал, докладывая Генсеку какую-то важную информацию. Затем вождь неспешно поднял голову к своему изваянию, своему же, сияющему в ночном поднебесье белокаменному лицу, освещённому снизу наперекрёст лучами прожекторов. На фоне звёздного неба его огромная белая голова в фуражке словно куда-то плыла, двигаясь в вечность...

Сталин, шурясь, долго молча смотрел наверх. Медлил. Наконец одобритительно усмехнулся в усы и... (о счастье!) стал так же молча пожимать близстоящим специалистам похолодевшие руки. От этого рукопожатья каждого тайно охватывал прилив ликования. Тогда и отцу повезло: и он ощутил в своей руке (вообразить немислимо!) маленькую, сухую ладонь Вождя. Вождя Всех Народов!..

Когда же сияющий эскорт, развернувшись как по команде, шурша, уехал, исчез вдали, как виденье, – красными точками, все какое-то время стояли в оцепененье. Словно ошеломлённые...

Вот такой был случай. А я, малышка, той ночью посапывала во сне рядом с мамой, в своей кроватке с сетками по бокам. Спала возле события, произошедшего рядом, на ВСХВ. Сладко спала на соседней Третьей Останкинской улице...

...И вот минули и канули в Лету десятилетия. Началась и завершилась Великая Отечественная война. Потом, опять же ночью, был повержен тот вечный поднебесный монумент. ВСХВ превратилась в ВДНХ, а теперь и вовсе в проходной коммерческий рынок. Умер в 1986-м в Красноярске мой папа, живший уже со своей третьей семьей. (У меня, кстати, есть сводная сестра и трое братьев от разных родительских браков.) А сила тех впечатлений и чувств, которые испытал мой отец тогда, при встрече со Сталиным, была, наверно, столь велика (даже в рассказе), что впаялась в сознание его первой дочери крепко и навсегда...

Ой, да мало ли что ещё впаялось в моё сознание!.. Хватило бы только сил и времени всё написать, отработать...

...А вот ещё один момент из тех лет. За отцом до войны присылали – с работы и на работу – казённую легковушку, автомашину с шофёром. До войны папа был не просто директором павильона, а получил за ударную работу свой первый орден «Знак Почёта». Шофёров у него было двое, работали они через день, посменно. Изредка пользоваться машиной дозволялось и маме – чтобы, например, доехать за покупками до Первой Мещанской улицы, то есть до Ржевского вокзала, что у Крестовской заставы.

Ржевский вокзал, то есть «вокальный зал», своё имя менял четырежды. Последнее название – Рижский, а до Ржевского он назывался Балтийским, а ещё раньше Виндавским. И представьте, некогда сам Штраус, гостя в России, давал в его просторном, с хорошей акустикой зале упоительные концерты. Он играл свои венские вальсы, и чарующие звуки скрипок вырывались из окон и плыли над Мещанской (будущим проспектом Мира), над пустыми составами, паровозами, семафорами и сплетеньями путей, рельс и шпал, не ведая, что они волюются в гудки революций, гром выстрелов, в крики толпы, стоны и плач... Может, и правда волны звуков не исчезают бесследно, а навсегда опутывают планету, как кокон?..

Так вот, на пути легковушки к центру, в конце нашей по-деревенски зелёной Третьей Останкинской, был мостик через речку Горленку, впадавшую у Ростокино в Язу. Это была речка моего детства, настоящий волшебный мир – с осокой и кувшинками по топким берегам, с любимыми ужами, головастиками, лягушками и жуками. Нынче всё это забыто (думаю, и моими сверстниками). Речка теперь взята в трубу, укатана мёртвым асфальтом, и русло её сейчас называется улицей Королёва.

Но тогда легковушка, прежде чем выехать на Ярославский тракт, должна была пересечь речку у села Алексеевское по деревянному мостику. Однажды мама именно там позволила себе попросить шофёра остановиться. Ей захотелось нарвать незабудок для дома. «Я мигом, я на минутку... Я не задержу», – и выпорхнула. Дядька-шофёр с седым бобриком на голове ей нравился больше, чем его юный сменщик. Он выглядел человеком надёжным, такой хозяину не донесёт, молчаливый, спокойный – похоже, из деревенских. (В 30-е годы вся деревня, оборванная и голодная, буквально хлынула за работой в столицу.)

И юная мама – стройная, в голубом платье и белых парусиновых туфельках, начищенных зубным порошком, – легко спустилась по зелёному склону к воде.

А шофёр тем временем вышел и, сев на ступеньку в открытых дверях машины, стал наблюдать за ней. Летний день сиял солнцем и безмятежностью, в речке искрилась вода. А молодая красивая женщина рвала среди зелени незабудки.

Скоро, насобирав букетик, она легко поднялась к машине.

– Красиво, правда?.. – На мгновенье уткнулась лицом в голубую ароматную свежесть. – Ну что, поехали? Я готова...

Но человек не двигался. Он сидел, уткнув лицо в ладони, и сквозь тёмные, жёсткие пальцы его жилистых рук сочились слезы.

– Господи, что с вами? – испугалась мама. – Что случилось?.. – Присела перед ним на корточки. – Может, вам чем-то помочь?

Но шофёр, еле сдерживая рыдания, не отвечал.

– Вам плохо?.. Может, вызвать врача?..

Но он тотчас в испуге вскинул лицо – мокрое, неузнаваемое, искажённое какой-то мукой:

– Нет-нет!.. Ты что?! Не надо никого вызывать... – И, торопясь, тихо забормотал: – Я ведь, понимаешь, стрелок... Стрелок я. Понимаешь?.. Сутки вот тут за баранкой, а других – расстреливаю... – Давясь слезами, он утирал твёрдые на вид щёки. – Всю смену людей расстреливаю... Работа такая... Таких вот, как ты... Разных... А у меня в деревне жена беременная, дети.

Он отвернулся, замер. Кругом было солнечно, лучезарно и так тихо, что далеко где-то слышались детский смех, гудки редких машин. Мама не знала, что предпринять, что сказать, что делать. И тогда шофёр резко поднялся, с силой провёл ладонями по седым волосам, словно стараясь что-то стереть из памяти, и, обогнув твёрдым шагом машину, сел за руль.

Вечером потрясённая мама с трудом дождалась отца с работы. Букет незабудок стоял на круглом столе под абажуром. Наглухо закрыв окна и двери, она по секрету, шёпотом всё рассказала мужу. Но отец отреагировал на удивление странно. Он неожиданно рассмеялся,

обнял, поцеловал жену в испуганные глаза и сказал, что это глупости, что она всё не так поняла. Или это просто абсурд, бред больного человека.

И принялся за ужин. А перед сном почему-то взял с жены слово молчать о случившемся, строго-настрого молчать и даже накрепко всё забыть...

Больше мама того шофёра не видела... Никогда.

Однако ничего не забыла.

Жили мы тогда, как я уже сказала, на Третьей Останкинской (теперь это улица Королёва) в двухэтажном бараке (их было шесть, седьмой сгорел в войну), с водой в дворовой колонке. Воду носили домой по-деревенски, в вёдрах, а кое-кто даже на коромысле. А ещё – с жутковонючей общей уборной на улице (в три плюс три очка: М и Ж). Раз в месяц, когда яма переполнялась, приезжала цистерна-трёхтонка, гудящая «говночистка» со шлангом в гармошку. Тарахтя мотором, она долго очищала яму. А потом пару дней окна в округе от вони открыть было невозможно.

Таких временных типовых бараков было множество понастроено перед войной, на окраинах городов. Наш шестой корпус был отдан семьям специалистов ВСХВ. Разумеется, временно, до скорого переселения сотрудников в центр Москвы, в приличные квартиры. Но этого так и не случилось...

Началась война, отец ушёл танкистом на фронт. Воевал в Сталинграде, Померании, Польше. Вернулся живым, орденосцем, не раненым, хотя обожжённым: в танке горел, но спасся. Потом (выставка закрылась, нечего было уже выставлять) папа работал в сельхозминистерстве инспектором по Сибири.

В 1954 году родители мои разошлись. Отец уехал на Алтай строить целинный совхоз. А наши уже несколько облупившиеся, засыпные бараки простояли ещё лет тридцать. Верно сказано: нет ничего более постоянного, чем временное. Там, в Останкино, моя яркая, «музыкальная» мама и прожила – как бы временно – всю свою жизнь. Там и состарилась, увяла, так и не осуществив себя (хотя талантливо писала и музыку, и стихи), так и не приготившись своему немилосердному, жестокому времени.

Сейчас на месте тех наших бараков высятся тяжёлые 30-этажные монстры, гигантские, гнетущие глаз дома-муравейники. И под стать им стоит исполинской иглой напротив, возле дворца Шереметьева, Останкинская телебашня. Кстати, строилась она в 50-е годы у меня на глазах, за окнами, в поле – на месте нашего огорода. Освобождая место для её возведения, рядом вырубали прекрасную дубовую рощу (которую некогда любил писать великий художник Исаак Левитан), так называемый Дубовый просек.

Сейчас нет ни этого просека, ни домов тех, ни речки, ни рынка. Ничего не осталось. И только, перемогаясь, дышат еще на пустыре деревья, когда-то посаженные рядком мной и мамой под нашими окнами: липы, ивы и тополя. Они разрослись и уже постарели, но пока узнаваемы. Так приятно, подъехав порой (самой за рулём) и подойдя к ним по заросшему пустырю, провести ладонями по их жёсткой, морщинистой, тёплой коре, по их рваным, глубоким ранам. «Поклон вам, мои родные сверстнички... Ну, как жили вы тут без меня?.. Что видели в эти десятилетия?..»

Люблю постоять неподвижно, отрешённо от мира, от городской суеты. Приобнять, коснуться щекой их древесного тела, которое некогда тонкой веточкой воткнули в землю мои детские руки. Внутри их ствола, по их жилам, ещё течёт вверх и вниз медленная, живая влага – кровь земли. Сколько же вы, горемычные, всего тут наслушались-насмотрелись?!

Если б деревьям, лесам была дана Богом глотка, жуткий стон бы стоял по всей нашей планете...

И эти мои деревья изранены, как на войне, – людской злобой и небрежением. Хотя для дерева полвека жизни разве же срок?.. Вон в Палестине я касалась руками олив (живы ещё!), под которыми молился Иисус Христос. И дуб Мамврийский ещё дышит, живёт, ещё помнит Святую Троицу!.. Могли бы и эти ещё процветать. Но нет... Суждено им было, бедным, родиться в Москве. А тут – как на войне, год шёл за три. (И для деревьев тоже.)

Однажды я подумала: что, если в далёком будущем высоколобые наши потомки, мудрые археологи задумают изучать исчезнувшую цивилизацию середины XX века? Станут копать в Останкино – как, скажем, в Манеже копают либо в Кремле?.. Или, к примеру, у египетских пирамид? Или – как Шлиман в Греции раскопал золото Трои?..

Что найдут они в толще останкинской земли? На что наткнутся, что расскажут им эти останки-находки?.. Ну, скажем, керосинки наши расплюснутые, примусы и керогазы (располагаю по порядку их появления) или же шайки с ручками, которые мы брали в общие бани?.. Или сдавленные рёбра жёлтого абажура, который так уютно когда-то светил над круглым столом?.. Или, к примеру, прищепки для стираемых простыней, сушившихся на наших чердаках, под вечной угрозой исчезновения в руках воров?..

А вдруг найдут полуистлевшую фронтовую кирзовую сумку отца моего, привезённую вместе с офицерским планшетом с войны?.. Ах, как я ею гордилась! На зависть подружкам вместо портфеля ходила с ней в мою школу № 271. Найдут остатки истерзанных нами в игре трофейных противогазов... Найдут кругленькие толстые увеличительные стёкла (танковые визиры), через которые мы, ребята, солнечным зайчиком выжигали на досках заборов свои имена. Найдут помятые немецкие губные гармошки из Мюнхена... Сколько всего трофейного!.. Можно подумать, что линия фронта проходила прямо через Останкино. (Вообще-то она и правда прошла через детские наши сердца.)

А ещё?.. А ещё наши потомки найдут алюминиевые ложки-самоделки, красавицы-ложки с черенками из разноцветных пластмассовых вставок – нехитрое солдатское рукоделье в тылу и на фронте. Найдут помятые кружки из алюминия, уже забитые землёй с добрыми дождевыми розовыми червяками. А ведь какой праздник был, когда только что появилась у нас эта алюминиевая посуда – кастрюльки, кружки, бидоны! А теперь её уже называют «вредной»...

А может, ещё они наткнутся и на мои ржавые коньки-снегурки с закрученными, как лебединые шеи, носами? Очень удобно эти снегурки прикручивались с помощью палочки и верёвки к подшитым валенкам.

Господи!.. Но ведь наткнутся, конечно, и на осколки фугасных бомб и зажигалок! Они тоже лежат в этой земле. Куда же им деться?! Ими осенью 41-го года самолёты фашистов нещадно бомбили Москву. И конечно, выставку – ВСХВ, её красавцы-павильоны. А заодно и соседний геометрический ряд наших жилых барачков.

Да мало ли что ещё могут найти тут потомки?! Дай им, Господи, старания, желания и любопытства. И чтоб были они лучше нас – светлее, добрее и чище.

...Вот и ещё видение. Отчётливо помню гул, низкий сплошной гул: это, невидимые в чёрном небе, идут на город бомбардировщики. И на фоне сплошного этого звука – хлопки взрывов-разрывов и крики, жуткие женские вопли. За стеной стук дверей, топот ног, убегающих по коридору. Но мама почему-то оцепенела: стоит напротив окна и, держа меня на руках, крепко прижимает к груди.

А я с интересом глазею на всё и совершенно спокойна, поскольку всем телом ощущаю тепло и надёжность её мягкой груди. Перед глазами жарко-красные оконные стёкла, они словно плавятся. Напротив – седьмой, последний в нашем ряду барачок. Он ярко горит, пылает в ночи большим весёлым костром. А в чёрном небе, как ёлочные фонари в праздник, висят осветительные ракеты, выпущенные фашистами. Они реют, как цветы, тут и там, на парашютах из

красочного шёлка: зелёные, белые, красные. Освещают лётчикам местность. Помогают немцу бомбить нас.

После таких бомбёжек разноцветные несгоревшие лоскуты парашютного шёлка дети и женщины соберут по дворам, крышам, деревьям и улицам. И будут шить себе что-нибудь из одежды: летнее, прочное. Такой зелёный лоскут до сих пор хранится где-то и у меня. На память. Жуткая память войны.

А в горящем доме напротив, спасая хоть что-то, хозяйки выбрасывали из оконных проёмов стулья, подушки, узлы. И те, падая вниз, на лету пылали, будто в замедленной съёмке. Потом (как в теневом театре) от дома к речке горящим факелом побежал человек. Он спасался. Но, не добежав до воды, упал вдали и остался лежать, догорая на земле костром...

Вообще бомбёжки в Москве в первую военную осень были часты. Аэростаты в небе и наши советские «ястребки» были почти беспомощны, не могли сдержать мощной немецкой армады. (Правда, на Третьей Останкинской сгорел только седьмой барак.) И мальчишки с плёбейских наших окраин, пользуясь гулом и паникой, воровали тем временем яблоки у соседей в частных садах. Набивали за пазуху полные рубашки.

Бомбили немцы и центр Москвы. Обрушился и сгорел, погребя под собой жильцов, старый дом вблизи станции метро «Библиотека имени Ленина», возле Пашкова дома. И бабушка всегда с ужасом вспоминала, что там долго-долго, пока неделями разгребали, разбирали завалы, стоял удушливый трупный дух, смешанный с запахом горелого мяса...

– А нам повезло, – говорила мне бабушка. – Они целили всё на Кремль. А бомбы на Солянке рвались, на Яузе и у Курского. И у нас во дворе только одна упала. Мы в тот раз в бомбоубежище не пошли: надоело уж бегать. А зря. Нас оконными стеклами сильно порезало. Но, слава Богу, живы остались...

Не знаю, будут ли интересны когда-нибудь археологам такие находки?.. Но в земле покопаться им стоит. Уж если мой муж, художник, начиная работу над триптихом «Поле Куликово» и съездив на Дон и Непрядву, привез домой наконечник татарской стрелы и 600-летний осколок копья, то уж середина XX века, царившая словно вчера, одарить может щедро. Только копни!..

Сегодня со словом «Останкино» чаще ассоциируют лишь телецентр и телебашню. А ведь это быллинный, сказочный край. В нём столько всего... вернее, в нём – ВСЁ. Единение всех трёх начал: вчера, сегодня и завтра... Впрочем, об этом надо отдельно.

А на том поле, где сейчас стоит телебашня, в войну и даже несколько позже, была расположена часть ПВО (противовоздушной обороны). Была укатанная, как бетон, площадка для аэростатов, пузатых и добрых, по-живому с колышущимися мягкими «животами». Так что наткнуться в земле на остатки креплений, державших поднебесных этих слонов, – раз плюнуть. С ликвидацией этого пункта после войны укатанную площадку отдали под огороды жителям ближних домов (об этом я написала рассказ «Останкинские дубки»).

Ах, до каких же кровавых мозолей мы с мамой надсаживали ладони, чтобы превратить камень в землю, чтобы вскопать под картошку, спасавшую в голод, выделенные нам шесть аэростатных соток. Мы копали эту землю до пота и сухости во рту – на виду наших жёлтых барачков, стоящих среди зелени, как оазис, и издали глядящих на нас. Мама с натруженными руками (а какие были красивые!) не могла подойти к пианино и тронуть клавиши, переноса частные уроки музыки, которыми подрабатывала, на другие, более поздние дни. Чтобы руки «успели прийти в порядок».

Возле поля, в тёмной глади останкинского пруда, картинно отражались и дивный Божий храм Покрова, и Шереметьевская усадьба – белоколонный дворец со львами (на которых я маленькой обожала забираться верхом) и с вечно забытыми, слепыми окнами. Все мои юные радости: катанье в парке на санках с потешной горы, плаванье на пруду в лодках, кружение

по льду на зимнем катке происходили именно здесь, были связаны с этим местом. С этим храмом, дворцом и прудом, на берегу которого располагался трамвайный круг, то есть конечная остановка. Разворот 17-го и 39-го – в обратный путь.

После войны тут было опасное, «воровское» место. Как и ещё одно – у северных ворот ВДНХ, при входе в постамент фигуры Мухиной «Рабочий и колхозница». Если верить местным, в пьедестале скульптуры бандиты и жулики (якобы банда «Чёрная кошка») имели базу-ночёвку, место сборища, «малину». И возможно, это была правда, поскольку в округе частенько грабили, насиловали и убивали. И не только тут, а по всей Москве.

В общем, Останкино (Дубовый наш просек, Кашёнкин Луг, Хованская улица и пр.) воспитывало меня как могло, лепило мою душеньку. Сейчас пишу некое сочинение, рассказ названьем «Рио-Рита из Останкино». Надеюсь, успею довести до ума...

Кстати, люблю это слово – «сочинение». Ещё прекраснее – «сочинять». В наш железобетонный век (был век *золотой*, потом – *серебряный*, а наш называю *железобетонным*) авторы, не шибко владеющие пером, умышленно извратили понятие сочинительства. Умалили его, унизили, низвели до плитуса. Появился даже термин такой, почти новый жанр, даже секцию в Союзе писателей образовали: «документально-публицистическая проза». Мол, основа не сочинительство, а именно документ. Это главное.

И стали в СМИ понятие это усиленно раздувать. А почему? А потому, что сочинять да ещё талантливо, умеют редкие, а вот документально писать может – пожалуйста! – любой грамотный. И пошли, и пошли издаваться примитивные заказные книжки кого угодно и о чём угодно: об ударных сиюминутных стройках-перестройках, о космосе, бесчисленные мемуары военачальников и генсеков. Вот, дескать, она, Правда жизни, настоящая литература. Та, что опирается на документ, на факт. А остальное ваше придуманное художество – это всё сочинительство. То есть лукаво поставили всё с ног на голову!.. Поскольку истинный-то художник – это и есть Сочинитель.

*И начинается художник-прозаик именно с сочинения. Есть правда жизни, а есть правда искусства. И сочинитель бесценен, поскольку своим талантом умеет превратить правду жизни в правду искусства.*

\* \* \*

Недавно пришла ко мне гостья, кокетливая такая «душечка» – постаревшая опереточная певица. Но сердечная, тёплая женщина. Она уже на пенсии, и потому обнищала. Любит ходить по гостям, как и другие мои подруги – бедные поэтессы и актрисы.

Вот за чаем певица и говорит мне загадочно – развлечь хотела:

– Я знаю, ты Тигр и Скорпион, хоть и плюёшь на это. Но лучше скажи мне полную дату рождения.

Я сказала. Она взяла листок и что-то стала считать. Складывать-вычитать, делить-умножать. Кто-то её научил этому. Сейчас уйма сект появилась. Все повально стали астрологами, экстрасенсами. Как при конце света...

Ну вот... Наконец она говорит с изумлением:

– Колоссально! В твоей дате заключено пять единиц. Цифрами!.. Редчайший случай!

Я смеюсь:

– Ну и что?.. Поздно, наверное, что-то менять?

Но она загадочно так и всерьёз:

– Это значит, ты – личность необычайная. Можешь руководить важным делом, большим коллективом. Например, заводом, театром, толпой... – Глаза её разгорались. – И... уж извини, даже страной. Как, например, Екатерина Вторая.

Но я не хотела. Я рассмеялась и варенья в розетку ей положила побольше. Вспомнила шутку: «А что, Василий Иванович, во всемирном масштабе, к примеру, смогёшь?» – И сама же, картинно так: «Нет, Петька. Во всемирном масштабе не смогу. С языками плохо...»

Но подруга моя не обиделась. Тоже попросту рассмеялась. Она хорошая, добрая тётка.

Юмор юмором, но почему-то это запомнилось. В каждой шутке, говорят, лишь доля шутки. Всё остальное – правда... Действительно, я всегда ощущала в себе необоримое жизнелюбие, силу, лёгкость контакта с людьми. Или это можно назвать чувством лидерства, желанием активного дела, решения проблем, действенной помощи. По утрам я всю жизнь просыпаюсь с мыслью: «Что надо сделать?» или «Что и кому я должна?» Юра, муж мой, однажды в шутку сказал:

– В тебе одной, Ирок, тысячная толпа. И никогда не знаешь, кто будет сегодня лидером...

В общем я всю жизнь борюсь с собой, с моим романтично-активным характером. С этой вот данностью. А ещё Юра говорил: «Ты моя моторная, метеорная!» А я призываю в душу смирение, кротость и тишину. Часто хватаю себя за узду, твержу: «Стоп, девушка. Стоп. Проходи мимо. Мимо. Не лезь ни во что!» Или: «Остановись, отвернись. Без тебя всё уладится, всё управится!» И прохожу мимо. Хотя знаю, со мной это уладилось-управилось бы и быстрее, и лучше.

С годами, конечно, вижу, что остываю. Но сердце всё ещё часто, по разным поводам, трепещет и бьётся по-юному. А при моей *диогиеновой* профессии пора бы научиться более жёстко собой управлять. Уметь сдерживаться, владеть собой, как люди Востока.

А уж «востока» этого я насмотрелась вдоволь. С японцем Куросавой полтора года бок о бок жили (Юра был главным художником-постановщиком фильма «Дерсу Узала»). А ещё в Китае у меня были встречи с прекрасной художницей, дочкой Дэна Сяопина. Мне не раз довелось бывать в Пекине, Шанхае: там перевели мою прозу на китайский. Жила я там не только в гостиницах, но и в семьях моих переводчиков. Пыталась постичь суть их жизни. А госпожа Дэн, моя ровесница, стала мне почти что подругой. Её раннее детство перед войной прошло в Советском Союзе, в детдоме Коминтерна, где-то под Тверью. И вот у неё, по-восточному мудрой и сдержанной, мне так захотелось научиться владеть собой...

Но боюсь, теперь уже поздно.

...Ну, а если вспоминать про Чапая и языков, то с моими двумя – немецким и русским, во всемирном масштабе мне и вправду пришлось бы туго. Кстати, моя бабушка Зинаида Ивановна Никольская (1892–1986) из рода мелких дворян, священников и врачей, которая в родном Нижнем Новгороде окончила обычную гимназию, свободно знала французский, немецкий, латынь и старославянский. (А нынче в школах стонут: мол, детки слишком перегружены-перегружены. Ещё бы! Если повально ночами на дискотеках беситься и колоться! «Пылить»! Какие уж тут языки?!.. Нынче в массе своей школьники – дремучие недоучки. Маяковского от Пушкина не отличат... А ведь учёные доказали, что мозг наш постоянно недозагружен. Он занят всего лишь на четыре процента! То есть, попросту говоря, ничтожное КПД, живёт вхолостую! И надо его загружать! Иное дело – чем...)

Дед мой, авиатор и учёный, свободно говорил на двух языках – немецком, английском. И это было не исключением, а нормой. Именно деду я и обязана знаньем хотя бы немецкого. А вот уже *красные* мои родители (годы их жизни: мамы 1918–1985 и папы 1914–1987) хоть и имели вузовские дипломы, были всё-таки недоучками. Кроме послевоенного «хенде хох» или «Вас ист дас? Фрицы драпают от нас» языков не знали.

А ведь отец был одержимым учёным, прекрасные сельхозмашины изобретал: жатки для гороха, картофелеуборщики и, как я уже говорила, СКСР-62 (сеялка-культиватор системы «Ракша» 62-го года). Говорил: «Эх, если б я мог ещё и свободно писать, я давно бы был академиком». Этот Дон Кихот всю жизнь отчаянно воевал с заскорузлой системой, с министер-

ствами, наивно надеясь победить бюрократов, монстров-чиновников, проломить эту мёртвую стену. «Я же не легковушки для себя изобретаю, а машины. Для страны и народа...»

По этой самой стране он ездил, летал, сновал без устали. Особенно весной и осенью – на испытания. Таскал (сопровождал) по железным дорогам на открытых платформах опытные образцы своей сеялки, чтоб по пути не разворовали. Там – на ходу, на ветру, в дождь и снег, под стук колёс – он и спал: в кабинах машин. Мчался из Красноярска в Омск, оттуда на Кавказ, в Ставрополь, Краснодар и опять в Сибирь.

На испытаниях папины машины неизменно давали лучшие показатели, лучшие результаты, везде побеждали. Но в производство их упорно не пускали. (Не брал он в соавторы ни министров, ни директоров заводов, где годами впустую работали ленивые их КБ, ни прочих шишек. Хотел всё честно. Да и перестраивать старые поточные линии на заводах «ради какого-то самородка Ракши» никто не спешил.) А отец всё пробивал, пробивал эти заторы. То в министерстве тракторного машиностроения, то в ВАСХНИЛе, то ещё где-то. В общем, сплошная «борьба, борьбою, о борьбе».

Будучи проездом в Москве, всегда ночевал у нас с Юрой. Гостиницы были дороги, да и мест там никогда не было. Приходил с мятым, набитым чертежами портфелем, вечно в старых нестиранных носках. Обе его сибирские жены – Фатима, а затем секретарша Людмила – были безрукими лентяйками. Наша *преображенская* квартирка была маленькой, и папа упрямо спал на полу, на матрасе. Ещё и потому, что по привычке клал под него на газету свои брюки, чтоб те не помялись за ночь.

Год от года мы замечали, как отец старел, усыхал, одевался всё более убого, небрежно. Но свежий галстук для посещения чиновных кабинетов всегда возил с собой в портфеле. (Униформа была такая, к начальству – обязательно в галстук.) И всё же до старости отец не терял веселости, *хохлацкого* куража, остроумия, лёгкости. Как говорится, выручал смех сквозь слёзы.

А вечной любовью его была всё-таки моя мама. И ещё – фотография. Он был талантлив и в этом. Обожал это дело, на еде экономил, лишь бы купить импортную плёнку, достать какой-то особый закрепитель или новый увеличитель. Благодаря ему у нас с Юрой и существует «хроника жизни» тех лет.

Привозил папа нам и подарки. Ломая при этом голову возле прилавков ЦУМа-ГУМа и советуясь с продавщицами. Эти дары всегда были нелепыми и ненужными: то грузинский рог для вина с серебряной отделкой, то деревянный резной орёл – «птица счастья» – со вскинутыми и обожжёнными крыльями. И дарить не умел: вроде как стеснялся.

– Вот, Иринка, – говорил как бы между прочим, – это вам на память. Возьми, пригодится...

Эти орлы стоят сейчас у меня на даче, а рога дома висят на стене в кабинете. Щемящая память о родном моём папочке.

Москву он любил. Часто, отправляясь по магазинам столицы со списком покупок, составленным его сибирскими жёнами, тайно ехал в Останкино – посидеть там в раздумье на Третьей Останкинской где-нибудь на скамеечке возле наших бараков, повспоминать прошлое. Но к маме не заходил. Видно, боялся не выдержать, плюнуть на всё и... остаться. Но в Сибири у него давно были дети, семья... Первая на Алтае, в Красноярске – другая.

Жил отец там, в общем-то, скверно. Сам стирал, сам квасил капусту на зиму, сам детей растил, сажал огород. Однако папу спасал характер: лёгкий и чуть озорной. Он, чудак, до последних дней верил в лучшее будущее. Был искренне предан идее коммунизма (за неё и кровь в войну проливал), который обманывал и его, и миллионы людей...

А годы бежали, бежали. На селе все ждали его машину – ни с чем не сравнимую, урожайную! И газеты о ней писали: в «Правде», в «Известиях» Георгий Радов, Владимир Овечкин, Юрий Черниченко – самые смелые, острые в этой области журналисты. Ну а писем со всей

страны отец получал мешками!.. У него чертежи просили, описание машины. И он посылал, посылал...

На Ставрополье, на Кавказе, в Крыму (и где-то ещё) некоторые колхозы-совхозы в своих мастерских самодельно мастерили его культиватор. И долго, удачно сеяли, получая высокие урожаи. И отец к ним летал. В общем, имя этого упрямого мужика – Ракша – стало в сельском хозяйстве легендой. Были даже решения ЦК (!) о включении его сеялки в поточное производство. Но и эти постановления увязали в глубоком болоте режима... И широкого хода машине так и не дали.

Ещё бы! Наивный был человек! Я уже говорила: как, ну как в те годы могла ходить по полям машина с названием «Ракша-62»? Это же не «рено», не «мерседес» какой-нибудь! Тем более не «Сталинец-80» или ЗИЛ-110.

В СССР такое не проходило. Умереть было легче... И он умер.

Эх, папа-папка, милый мой Дон Кихот! Взрывной, одержимый, вечно толкующий только про урожаи, про сошники и зерно, живший от посевной до уборочной! Я в жизни часто слышала от людей: «Ирина – вся в отца... Ну вылитый отец...» Невольно этим гордилась. И только теперь, с опозданием, пытаюсь разобраться в тебе, мой дорогой папа, да и в себе.

*Твоя в чертах моих улыбка, / И сила в двух моих руках...* Ах, родной ты мой мечтатель! Простодушно-нелепый мой сочинитель. Ты мог ночью, тихонько, чтоб не будить нас с мамой, подняться с постели и в трусах, босиком направиться к кульману. И чертить, чертить до рассвета, переступая босыми ногами по холодному полу, какой-нибудь только что придуманный узел – «дисковый сошник».

Ты – вечный командированный, теряющий на своём пути семьи: и жён, и детей. Ты – вечный танкист, орденосец, победивший фашизм, а в мирное время шагающий в кирзовых сапогах и плаще из брезента. В сапогах – по разбитым полям. Ради хлеба, ради урожая и родины. Ты даже на фотографиях вечно стоишь у тракторов и комбайнов по колено в грязи!..

Нет, не в грязи. В земле! В родной своей, целинной, залежной... Однако ты и в ЦК КПСС, в полированных кабинетах, заранее неумело повязав утром галстук, всё доказываешь чинушам свою Правоту и Правду. Тщетно пытаешься при этом не потерять достоинства и задёрганной чести. А вернувшись вечером, весело говоришь нам с Юрой:

– Ничего, ребята! Ничего. Прорвёмся. Они смерти моей хотят... Не дождутся!

Нет, дождались.

Отцу удалось дожить лишь до первого, начального, этапа перестройки... Умер папа в Красноярске, в 1986-м, получив от государства, как танкист-орденосец, прекрасную квартиру на семью с двумя детьми и работая в сельскохозяйственном НИИ зав отделом механизации. А сеялку СКСР в широкое производство быстренько этак пустили институтские его коллеги. Тиражировали. Так что теперь отцово детище, как прекрасный корабль, плывёт по просторам родных полей, давая новые и новые урожаи. Но уже под каким-то другим названием. Переименовали.

Ничего. Мечта моего отца, танкиста-агронома-изобретателя, всё же сбылась. Не пропал даром его *скорбный труд*. А название?.. Что ж, для него это уже не важно. Лишь бы хлеба сеяли да собирали побольше! «Не нам, не нам, а имени Твоему...» Православные монахи испокон веков вообще не подписывали свои творенья, свои летописи. Знали: всё полезное, всё ценное – Божье. От Бога.

\* \* \*

Теперь – о маме.

...Мама, Нина Аркадьевна Ракша, после рождения сына в Сибирь с мужем не поехала. Осталась в Останкино, надеясь, что отец новорождённого Игорька на ней всё-таки женится, оставив свою семью. Но напрасно.

Любимого, но *неудачного* мальчика мама растила всю жизнь одна. И будучи агрономом, одиноко работала всё на той же выставке (теперь называемой уже ВДНХ) – экскурсоводом, а затем экспертом плодоовощных культур. До сих пор не пойму, почему она – городская, нежная, музыкальная девочка – вообще поступила в эту Тимирязевку?

Но и позже, уйдя на пенсию, мама не могла не работать. Такая уж была у неё (да и у всех тогда) закваска. Вечно крутилась, как заводная!.. Устроилась даже торговать в киоске мороженым. Сидела в окошечке в белом фартуке и наколке на седых кудельках и продавала эскимо на палочке и пломбир по 48 копеек. А вечерами в одинокой квартирке раскладывала под оранжевым абажуром пасы янс или сочиняла стихи.

А её дочь Ирина (очень, видите ли, деловая и занятая особа: то у неё командировки, то книги, то съёмки) всё как-то стеснялась, стыдилась этой материнской простецкой работы. И приезжала к матери-продавщице, уже пожилой и больной, довольно редко, чаще по праздникам. Порою с мужем-художником и дочкой Анечкой...

Мама долго готовилась к каждой встрече. Хлопотала. Заранее доставала что-то вкусненькое (полжизни она провела в этих доставаниях, в очередях). Сто раз вытирала пыль с фотографий и пианино, покупала цветы. Наконец, в день нашего приезда, пекла фамильные пироги – *никольские*, бабушкины. Во весь противень: с капустой, луком, яйцами. С очень тонким тестом, с массой аппетитной начинки, таявшей во рту. (До революции за такой пирог – в длину стола – у Никольских садилась вся семья в дюжину человек, да ещё друзья детей, тоже гимназисты-реалисты.) И очень переживала, если пирог, как ей казалось, «не удался».

А внучке Анечке моя мама обязательно отыскивала в подарок какую-нибудь безделушку, совсем ей не нужную. Или в пустой пробный флакончик отливала пипеткой любимые свои духи «Красная Москва». (Других тогда просто не выпускали. Хотя нет, вру: были ещё духи «Кремль». Позже – «Ландыш серебристый».)

В конце вечера, после чая, Нина Аркадьевна ритуально садилась за пианино. Порою ещё и Анютка тоже ритуально, старательно, наизусть читала стихи:

*У лукоморья дуб зелёный,  
Златая цепь на дубе том.  
И днём и ночью кот учёный  
Всё ходит по цепи кругом...*

Мамина кошка Дымка по цепи не ходила (у нас всегда были кошки с таким именем – любимые, чаще серые, как дым, и конечно, всегда спасённые). Она лежала клубком в узкой прихожей на маминых тапочках, чутко слушала говор гостей, выделяя любимый голос – хозяйки.

И мама в конце вечера обязательно открывала чёрную крышку пианино «Красный Октябрь», с детства мною любимого, и начинала вдохновенно играть и петь под собственный аккомпанемент, бегая по клавишам большими, припухшими (когда-то красивыми) пальцами с голубыми прожилками. Ну а мы, дети-внуки её, покорно сидели за нарядным столом с остатками пирога на фамильных кузнецовских тарелках и, порой поглядывая на часы, обречённо слушали.

Сперва, для разминки, мама играла что-то бравурное, из классики. А потом мы слушали романсы Глинки, Чайковского. Мамин негромкий, но чистый и родной голос ещё звучал. И пела она свой любимый романс:

*Уймись, сомнения страсти,  
Усни, безнадежное сердце.  
Я плачу, я стражду.  
Душа истомилась в разлуке...*

– а в конце низко-низко звучало трагичное:

*Не выплакать горя в слезах...*

Да, как мы все её понимали!.. Как она всё же любила моего отца... Какой они были парой! И юными, до войны, и в войну, и после. А сейчас... сейчас и правда – не могла выплакать горя в слезах. Горя одиночества и сиротства.

Пела мама, конечно, и «Тёмную ночь», и «Землянку», и даже «Валенки». Время причудливо переплеталось в её репертуаре: век золотой, век серебряный и наш кроваво-железобетонный. А когда убирала с клавиатуры отёкшие пальцы – кисти рук безнадежно падали на колени, – в глазах всегда стояли слёзы. И не только о том, что жизнь прошла, а и о том, что дети, внучка вот сейчас уедут на такси в ночь, и... до следующего праздника. А она будет убирать со стола и, не вытирая мокрых щёк, вслух жаловаться кошке Дымке, что «пирог, наверное, не удался». Хотя она так старалась и надавала нам их с собой полные руки...

Жила мама на крохотную зарплату. А мизерную пенсию откладывала на сберкнижку, «про чёрный день» (который, собственно, никогда не кончался). И ещё чтобы после смерти оставить что-то детям, – мне и любимому Игорьку.

И оставила. Этими небольшими деньгами мы с Юрой потом раздавали долги за кооператив. Так что какой-то кусок потолка на Преображенке ты, мамочка, нам всё-таки подарила.

\* \* \*

Господи, мама-мамочка... (Равнодушие равно бездушию, бесчеловечности...) Прости свою дочь за всё...

Я по сей день храню картонную коробочку с твоими драгоценностями, чтимыми тобой медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За Победу над Германией», «За долголетний добросовестный труд». (Слово-то какое хорошее выжило – добросовестный – добрая совесть!) Сколько за этими блестящими кружочками всего!.. Целая жизнь!.. И противотанковые рвы-окопы под Москвой, и бомбёжки, и работа в эвакуации на полях, и жизнь в землянке, и голод, и встреча мужа с войны. За каждым этим жёлтым кружочком металла с выпуклыми профилями вождей Ленина-Сталина – твоя бесценная, единственная судьба.

А ещё я храню твои любимые ноты (вернее, они ещё бабушкины, дореволюционные) – с дивными вензелями и портретами композиторов: Штрауса, Моцарта, Шумана, Чайковского. И в равной мере берегу твою кружевную наколку и белый фартук продавщицы советского, лучшего в мире мороженого. За 48 копеек. И эскимо...

Ах, мама-мамочка... Если можешь, прости свою нерадивую дочь.

\* \* \*

Я была членом Союза писателей, членом Союза журналистов с шестидесятых годов. Заведовала отделом искусств журнала «Работница». Член правления московской писательской организации, член бюро прозы... Юрий Нагибин как-то сказал: «Как же может такая красивая женщина быть членом чего-то? Тем более Союза писателей?»

Но если серьезно, все эти «членства» – сущая ерунда, игра в ряженных. Правда, в советской жизни все мы были немного ряжеными. Исключая, конечно, настоящих героев труда, героев войны, защитников Отечества. А для писателя главным делом всегда было не заседать, а *делать буквочки*. Если же уходишь во власть или в политику, оставь перо. Это несовместимо. Это как разные улицы, как иные дороги. Ты или тут, или там: приходится выбирать.

Я свою тропу выбрала не бескорыстно. Потому что писать – для меня это в радость. Для кого-то в радость сидеть на сцене в президиуме, для кого-то лечить зубы, для кого-то прыгать с шестом. А для меня – писать. Русский язык – это такой праздник!.. Беспределен, нежен, могуч. И обращаться с ним хочется бережно, как с невестой. В быту мы его не замечаем, словно воздух, которым дышим. А без него... ты сразу немой, как без пульса...

Со мной однажды именно так и случилось. В стране катятся жуткие 90-е. Дочь вышла замуж за иногороднего, уехала из Москвы. Жить невыносимо трудно.

И тут меня посватали. Он – немец из ФРГ, приятель моих переводчиков. Некогда инженер и тоже вдовец на пенсии. Влюбился в меня до чёртиков, позвал замуж. Умолял остаться жить в его родном Мюнхене, в дивной вилле с бассейном, с двумя машинами, с двумя домработниками-хорватами. Но я, *ненормальная* (как заклеили меня подружки-москвички), даже зная немецкий язык, больше месяца там не выдержала, не смогла просто существовать.

Сперва думала: ерунда, всё наладится, приживусь, привыкну. Многие приживались. Но... нет и нет. Интересно, что это за тоска такая душу грызёт?.. Что за дурацкая ностальгия русских душист?.. Казалось бы, спокойно сиди в сытом, красивом раю и не рыпайся!.. Вон что в твоей России творится! Бесчинство. Убийства. Коррупция. Страна вот-вот развалится. Во главе её пьяница. «Помогают» ему хитрецы-мародёры – якобы либералы, гайдари-чубайсы. Земля горит под ногами! Так что считай, что тебе ещё повезло.

Ан нет! Не сказала и не могла так сказать... Поняла очень быстро: нет, без России, без родины, без русского языка я попросту за-ды-ха-юсь. Поняла, что именно он, Русский Язык (а вернее, она – Родная Речь), для меня – всё. И воздух, и дом, и *отеческие гробы*, и собственный пульс. Вот ведь что... И я там, будучи постоянно внутри чужого, немецкого языка, через месяц чуть не рехнулась. Чуть не утопилась однажды ночью в каком-то декоративном пруду с лебедями, когда одиноко гуляла близ виллы в роскошном парке.

Остановило меня только моё богатое воображение. Представила идиотскую картинку, которая обнаружится утром, при доставании из пруда баграми полицией моего мокрого тела. Багры будут цепляться за одежду, за волосы. Жуть... И никто не поверит, что я это сама, что никакого криминала тут не было...

\* \* \*

Служить можно только Богу. Но чтобы это понять, мне, к примеру, надо было долго карабкаться вверх. Восходить. Восхождение... оно дорогого стоит.

Вот уж пять лет как я называюсь ктитором (старостой) храма Рождества Пресвятой Богородицы в Бутырской слободе, что у Савёловского вокзала. Но такой путь не обязателен каждому. А мне однажды, уж и не знаю за что, была дарована такая честь – помочь восстанавливать храм-мученик.

У него редкая история, достойная биография. Построен был в 1604-м. А взорван... да, именно взорван... совсем недавно, не в какие-то далекие тридцатые, а в 1972 году. Ведь вожди-коммунисты вплоть до 90-х уничтожали храмы и монастыри по всей России. Но СМИ сегодня как-то быстро забыли об этом и глазки отводят в сторону... Даже призывают церковь каяться в своих несовершенствах и каких-то давних грехах. Журят, попрекают тех, кто наконец

вошёл-таки в храм и зажёл свечу. А что, спрошу я, разве лучше с пистолетом стоять в руках?.. Нет уж. Лучше зажги свечу! И – покайся!

...Так вот, служить надо Богу, уж если дано послушание. И жить по его законам и заповедям. Батюшка нашего прихода великодушен. И меня, нерадивую, неумелую старосту, терпит пока. Бумагами занимаюсь, порой – архивом, в начале пути пришлось много повоевать с чиновниками. Они ведь, бюрократы-голубчики, остались всё те же, сидят по конторам на тех же местах. И стали теперь даже злее и круче. Особенно женщины, а их в конторах, как правило, больше. Общение с ними – стресс и слёзы. И можно вытерпеть это, лишь молясь, держась мысленно за Крест Божий и твердя: «Ангел мой, ты со мной. Ты впереди – я за тобой...» или «Живи для Иисуса, а не для хлеба куса».

Вот я так и старалась...

\* \* \*

...Лет сорок назад мы с юным поэтом Геной Айги (он был тогда Лисин), нищие студенты-филологи, оказались в его родной чувашской деревне Шаймурзино, занесённой по окнам февральским снегом. (Шай-мур-зи-но! – какие звуки поющие: то позёмкой шуршат, то колокольцами звенят.)

И пошли мы с ним на дальний край, в избу к местному чудо-мастеру. Этот старик всей округе плёл из бересты утварь: коробка, туеса и, конечно же, лапти – самую ходовую обувь. Дивные плёл он лапти: неглубокие, такие румяные, золотистые – словно обжаренные на поду пирожки. Такой формы и цвета я потом по Руси не встречала. Везде лапти плетутся разные. Его же, лёгкие на ходу, имела тогда и деревенская матушка Гены, и его младшие сёстры Ева с Луизой.

Так вот. Этот волшебник в подслеповатой своей избе на курьих ножках, где, однако, всё светилося от бересты, лыка, онуч и свежо, остро пахло лесом, хвоей, сперва молча осмотрел меня. Глазки лукавые, мелкие. По-чувашски спросил Гену, кто я такая, откуда (по-русски он говорить не умел). И только потом стал палочкой деловито измерять мою аккуратную ножку со ступнёй 36-го размера.

А через день, ярко-солнечным голубым утром, как раз перед нашим с Геной возвращением в Москву, этот маленький чародей в полушубочке пришёл к нам сам, весело скрипя валенками по снегу. Принёс мне в подарок (как тёплого зайца за пазухой) лапотки. Лапти с онучами. Ладные, ароматные, тупоносенькие. Они были как раз мне впору. Взяла, надела бережно, как Золушка – хрустальные туфельки. Чтоб с лёгкой руки старика сразу ехать на бал, в столицу...

Я и поехала... На Бал Жизни. С той лишь разницей, что никогда и нигде не теряла эти лапоточки. Сберегла и поныне. (Как и подаренный Гениной мамой *хушпу* – чувашский женский головной убор – красный, нарядный, весь в свисающих бусинах, ракушках-каури, старинных монетках.)

\* \* \*

Вдова я уже двадцать лет. И жизнь моя делится надвое: двадцать лет вместе и двадцать врозь. Впрочем, почему – врозь?.. Всё равно с ним вместе.

Однажды Юра, готовя каталог своей первой персональной выставки живописи (до которой он так и не дожил), в статье «Разговор о главном» написал:

*«В многочисленных поездках для диплома мной было сделано немало рисунков и этюдов. Много и писем было тогда написано будущей писательнице Ирине Ракше, ставшей потом моей женой и верным другом на всю жизнь, и в радости, и в горе, моим единомышленником, первым*

*зрителем, первым критиком. Я знаю, как много факторов должно соединиться в благом сочетании, чтобы художнику стать художником, чтобы художник осуществился. Вот почему так важно, кто всю жизнь с тобой рядом...»*

\* \* \*

В трёх дипломах моих написано: «Литературный работник», «Кинодраматург», «Специалист кино и телевидения». А в трудовой книжке – с 1956 года и далее – есть такие записи: «разнорабочая... почтальон... учётчица пилорамы... лаборант птицефермы... оператор хоппердозатора... литературный секретарь...» и пр., и пр.

Но вся эта пёстрая канитель – не от хорошей жизни. Как было бы ладно сразу «попасть в себя»!..

Но сразу – в себя – не бывает.

Есть у меня и ещё один документ, такая красная книжечка. Там значится: «Специалист по лечебному и классическому массажу». Это я в 1992 году, когда страна вляпалась в капитализм, когда все редакции и издательства позакрывались, лопнули, скорее курсы массажистов закончила – чтобы не погрузиться в нищету, в безработицу.

Но едва начав этот престижный труд, сразу же поняла: нет, заниматься этим я не смогу. И не потому, что трудно физически, я в силе, в порядке пока. Но ощущение всё-таки жуткое. Чужая кожа, чужие тела, а в них души чужие, иные сущности. И ещё: тут не просто работать надо, тут надо *служить*

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.